

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКВА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1927 год НА ЖУРНАЛ

НОВЫЙ ЛЕФ

ЖУРНАЛ ЛЕВОГО ФРОНТА ИСКУССТВ

ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО

Под редакцией В. В. МАЯКОВСКОГО

При участии: Н. Н. Асеева, О. М. Брика, Д. А. Вертова, В. Л. Жемчужного, В. В. Каменского, С. О. Кирсанова, Б. А. Кушнера, А. М. Лавинского, П. П. Незнамова, В. О. Парцова, А. М. Родченко, В. Ф. Степановой, С. М. Третьякова, Н. Ф. Чужака, В. Б. Шклярского, С. М. Эйзенштейна и др.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

на год — 6 р., на 6 мес. — 3 р. 30 к.,
на 3 мес. — 1 р. 75 к.

Цена отдельного номера — 60 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Отделом подписных и периодических изданий Горгсектора Госиздата: Москва, Воздвиженка, 10, тел. 5-88-91; Ленинград, Пр. 25 Октября, 28, тел. 5-48-05, в книжных магазинах, киосках, провинциальных отделениях и филиалах Госиздата, у уполномоченных, снабженных соответствующими удостоверениями, и во всех почтово-телеграфных конторах.



№ 8-9

В НОМЕРЕ:

- С. Кирсанов. Моя именнинная
- В. Маяковский. Только не воспоминания.
- Н. Асеев. Октябрь на Дальнем
- О. Брик. Мы—футуристы.

С. Третьяков.
Штык строк.

ГОСИЗДАТ 1927

НОВЫЙ ЛЕФ



ГОСИЗДАТ

НОВАЯ КНИГА

КУДЕЛЛИ П. и КУЛЯБКО П.

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ

АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ и ОРГАНИЗАЦИИ

АЛЬБОМ

Таблицы работы худ. Я. Гуминера.

Стр. VII + 31 + 40 отд. табл.

Ц. 4 р. 50 к.

**ПРОДАЖА ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ
И ОТДЕЛЕНИЯХ ГОСИЗДАТА**

МОСКВА, ЦЕНТР, ГОСИЗДАТ „КНИГА-ПОЧТОЙ“

высылает книги наложенным платежом. При высылке вперед всей стоимости заказа — **пересылка бесплатно.**

Десять.

Леф

Десять лет мы делаем Октябрь.
Десять лет Октябрь делает нас.
Десять лет назад основное ядро сегодняшнего Лефа вложилось в оглобли октябрьской работы.

Ориентируясь на него, подходили принявшие Октябрь пожке. Удельный вес и плотность лефцентра от этого не снизились. Наоборот — ибо лефовцем может стать органически только человек, приемлющий социальную революцию единственно, безусловно и до конца.

Мы — синдикат вещевиков.

Мы умеем делать, любим делать и делаем на потребу Октября лозунги, фельетоны, монтажи, частушки, вывески, кинонадписи, уличные семафоры, плакаты, кинофильмы, газетные рапорта, рекламстихи, киоски, эстрадные куплеты, витрины, кинохронику, марши для шествий, фото, перевинчиваем старые пьесы и строим новые, инструктируем речевиков и будем делать это впредь.

Революция засучив рукава месит глину экономики.

Октябрьский посев прорастает трубами фабрик.

Ритмический пых заводов и тракторов перешибает склеротическое сердцебиение ручного труда и задыхание усталых кустарей.

Самый человек меняется, должен измениться.

Революция шатунами двигателей месит тесто быта.

Но с трудом отдираются от ладоней старые привычки — потягота на слюнякство и прогул, на бузу и озорство, на скулеж и лень.

Искусство во всех своих гипнотических видах —

искусство — сон, искусство — греза, искусство — нежность, искусство — сладость, искусство — увод от будней, искусство — небылица, искусство — красивость, искусство — сантимент — эстетической Сухаревкой жужжит над ухом революции, заывая на свои пуховики.

Порой кажется — неужели пуховики переселят?

Тогда подымаемся мы и наши друзья.

Пусть грубо, пусть резко — но зато без хныка, без дряби, ясно, броско, изобретательно, задиристо звеним настойчивым будильником:

Прочь от пуховиков!

К железопрокату!

К землепрокату!

К человекопрокату!

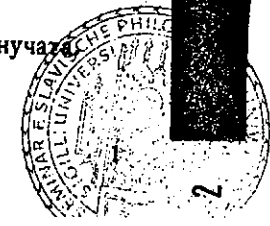
Железное время — делать железным людям.

Брюхом вверх на опуховелой земле поваляются правнучата.

Наша дорога труднее горного карниза.

Не жмурить глаз! Не останавливаться! Не хмелеть!

8-9 001



Четкие, трезвые работники и мастера, залившие свои уши воском, чтоб не слышать сиренных серенад, кричим мы невыносимым для деликатного слуха будильником
р р р р ь ь з з з ь й й.....

— десять лет — десять шагов.
Пружиньте ноги! Острийте зубы! Выверяйте сердца! Зорчите глаза.
Суровый Октябрь — боец,
Веселый Октябрь — строитель
продолжается.

Моя именинная.

поэма

С. Кирсанов

1.

Вступление к повествованию, составленное
в тонких, лирических тонах, соответствующих
позднему часу.

Дети,	Тьма укутала
дети,	порог,
спать пора!	Сеня кончил
Воют	свой урок.
вьюги рупора.	Ах, какой он
Санки с лыжами	маленький!
озябли,	Этажерки ниже,
Спрячьте	отстегнул
куклы,	от талийки
книжки,	короткие
сабли,	штанишки.
спать,	Ветер хлопья
спать,	с крыши слул,
спать пора,	забелел туманом,
по кроватям, детвора!	села мама
Львиная лапа	на стул,
замигала лампа.	и запела мама:

„Месяц глянул из потемок,
обернулся тьмой,
и на лапки, как котенок,
встал будильник мой.
Опусти скорее, Сеня,
веки карих глаз,
завтра первый день весенний,
завтра — в первый класс.
Сеня, спи. У грани польской,
логом низовым,

встал отец твой красным войском,
красным часовым.
Снег кружится. Ночь кренился.
Холодно ногам.
Злой шпион ползет границей,
целит свой наган.
„Но отец твой старый воин
закален в бою.
Спи, малютка, будь спокоен,
баюшки-баю!“
Скоро, скоро стукнет время,
задрожит звонок,
ты, ружья накинув бремя,
в бой пойдешь, сынок.
Провожу бойца Семена,
поцелую в ус,
положу в кошель ременный
хлеба черный кус.
А пока, я только песню,
песенку пою,
спи, сынок, в кроватке тесной,
баюшки-баю!

— Баю-баю
маленький,
слушай песню
маменьки,
Баю-баю
махонькой,
спи в кроватке
мягонькой...
Темнота.
Тишь.
Тени
на полу...
— Спишь?
— Сплю...

2.

Глава, для расшифровки которой требуется Фрейд
или по крайней мере сонник.

Сплю...
сп-лю...
В кух-не
кран закапал
спу.
сс-пу.
ссс-пп.

Сплю,
с-плю...
Ходит,
хо-дит папа—
Тсс...
Пу...
па-
па
пе-
ред
вором
в уг-
лу
склад...
Делает шпион
затвором;
КУ
КЛУКС
КЛАН.
Одеяла драп
свис.
Мама спит.
Храп.
Свист.
Па-
па
па-
дает,
па-
дает,
пада...
испуг!
слу...
Поле. Синь. На заре
Парусинный лазарет.
Пуля села
в легкие,
папочка
охкает,
Из холодных
палат
белый
движется халат.
Врач белее
цинквайса,
за глазами
очкастыми,
он кричит:
— Одевайся,

поскорей,
за лекарствами.
Не стоять,
не качаться,
папа
может
скончаться,
Ночь темна и густа,
до аптеки — верста,
... корпий,
вата
и йод...
Мама
песню поет,
Месяц
топит избу...
сс-пу...

3.

Глава педагогическая с замиранием под ложечкой, посвящаемая учителям и карцеру Одесской II гимназии им. Николая II.

Грудой
башен заморских
снег,
сверкая, лепится.
Утренние
заморозки,
Гололедица...
Холод
пальцы припекает,
вот бы
если варежки!
Мимо Сени
пробегают
школьные
товарищи.
Закричали
Митя с Колей:
— Сенька,
ты чего не в школе?
— Я в аптеку папой
послан,
и вернусь
оттуда поздно.
Раз, два, три,—

Сенечка,
не ври.
Зажимайте
живо рот.
Забирай,
за шиворот,
влезь
в класс.
Подтолкнули
валенками,
посадили
с маленькими.

Бел
мел.
— Подтянись!
за пюпитром
латинист.
Руки,
что жорновы.
— Дети,
за латынь!
скрыты брови
черные
пенсне золотым.
Раз, два три,
Сеня, повтори:

„Dantebe iscus, o mater Rossia, essentia quassa,
cicero, corpus, petit isvesti, orator, tribuna,
radio nositis centra declaratii — Urbi et orbi,
rygruga parus namorae Respublica quetrus tremit“.

Бледен мальчик,
обмер мальчик,
входит, входит
математик:

§ 000. Шли четыре мужика, говорили про крупу,
про попку, про крупу, да про подкрупку.
У меня полпуда с граммом, у тебя кило и пуд,
у Антипа пуд и гарнец, у Ивана четверик.
Сколько было в метро-мерах всей крупы
на четверых?

Обмер Сеня,
пьяный будто,
стал решать,
и перепутал,

и издав
военный крик —
через кафедру — прыг!
Прыгнул
через падежи.
— Да держи его!
держи!

Тангенс, синус,
плюс и минус
взял разбег —
A + B...
Перепрыгнул
Ваню и
Рисование,
Перепрыгнул
Рафу, и
Географию,
Перепрыгнул
Саню, и
Чистописание.
Встал учитель
на порог
— Повтори,
лентяй,
урок!

Что мальчишке
до урока?
Перед ним
легла дорога
голуба и широка.
Сахарные берега...
И только четыре
мальчика в школе:
Володя,
Сережа,
Ося
и Коля

и девочки:
Ксана,
Оля
и Лиля
За это дело
Сеню хвалили.

4.

Глава сладостная, посвященная деликатности,
полному собранию сочинений П. С. Когана
и зубо­врачебному креслу.

Берег моря.

Где я?

Стоп.

Вкусный,
 сладкий запах слоб,
Изменили
 мне силенки,
устаю,
 устаю!
В поле
 сахарной соломки
я стою.
Яж
 не сладкого искал...
сколько
 сахара-песка,
что за розовая ваза?
 Ах, как пенится у скал
Море Клюквенного Кваса.

Золотятся пески —
самый лучший

бисквит!

Горный тянется хребет
чистый,
 радужный шербет!

А в долине,

вдали,

но отсюда

недалек —

разноцветный
 городок
в бонбоньерке
 залег.

Белосахарных палат
расцветают купола,
— Заходи, стар и млад,
хочешь,

кушай мармелад,

хочешь,

губы шеколадь,

наряжайся

в маки,

хорошо

шеголять

в серебряной

бумаге.

Посмотри

на домик тот,

это — торт.

Ну, а это

фортепьяно

сделано

из марципана.

Гуляют

ангелочки —

на плечах

кулечки,

в обертках,

как шейхи,

раковые

шейки.

Прямо, прямо

нет спасенья!

От соблазна

плачет Сеня. —

Ах,

он бы съел

ну хотя бы

монпансье.

Посредине города

неширок и короток

домик

из печеньяца.

а оттуда

голосок,

словно

ананасный сок:

„Мое Вам

почтеньице,

В райские

кущи

заходите,

скушайте

абрикосу,

сливку,

вишневую
наливку,
не стесняйтесь,
заходите!..“
X
Сеня,
слюни вытерши,
видит:
Главный Кондитер
с Главною Кондитершей.
Сколько, сколько
сладостей,
где ж это
кончается?
У Сенечки
от слабости
все в глазах
качается.
Время клонится
к восьми.
И весь мир
просит Сению:
— Слушай, —
скушай
этих яств новизну!

Ну возьми!
— Не возьму...
Ну возьми!
— Не возьму...

А мальчиковы
пятки
вязнут, вязнут
в патоке,
па-атока тяну-чая,
ги-бель неми-нучая,
тя-анутся
сладкие
ли-ип-кие
нити...

— На помощь,
на помощь,
спасите,
вытя-
ните!
То-
ну,
То-
ну!

А хитрая
кондитерша
смеется:
— Да ну?
Вот уже рубашка
в патоке подмокла,
Но что это?
откуда это
мчится подмога?

Кем это
выслано
соленое
и кислое?
Армия
столобая
мчится
соль столовая,
А за нею
мчится
перец
и горчица...
Как ударила
соль
в сахарную
антресоль!
как повылетел
хрен —
шоколады
дали крен!
а горчица
горячится:

— Эх!
не грех —

бей
в мускатный орех!
Кондитерша
кубарем,
блещет
нижним бельем.
Ну-ка
уксус откупорим,
обольем, обольем!

Налетают,
налетают
стаи перца
на туман,

тают,
тают,
тают,
тают
шоколадные дома.
И сахарная жижица
льется
и движется.

5.

Глава, написанная к сведению библиотекаря.
Что читал Пушкин и Чуковский?

Странной силою ведомый, я вошел в гусиный домик,
За столом и чашей пунша, в свете карточной игры,
под тик-так часов-кукушки ждали Андерсен и Пушкин,
Гофман, Киплинг и Чуковский, Кот-Мурлыка, Буш и Гримм.

И сказал Чуковский: — „Сядьте! Мальчик Сеня, ты — читатель,
и, конечно, как читатель, без завистливых затей,
ты рассудишь, ты научишь, кто из нас, сидящих, лучше
пишет сказки для детей!“

Тихо
и нерадостно
начал сказку
Андерсен —
маленький,
лядащенький
седой старичок:

— „Лежали вместе
в ящичке
Мяч и Волчок.
„Души я
в вас не чаю сам,
люблю вас
горячо...“
Давайте повенчаемся...“ —
Мячу
жужжит Волчок.

Но
гордостью наполненный,
Мячик говорит:
„Я с Соловьем
помолвлена,
он — мой фаворит.
Ему отдам
невинность я!“

Наутро
Мяч исчез,
Волчок
не в силах вынести...
Прощайте,
жизнь
и честь!

Прошло
немало времени,
Но жог
любовный яд...
„Наверно,
забеременел
Мяч
от Соловья.
Я видел
на „ex-libris“e“
Соловья в очках...“
Тут мальчик

взял
и выбросил
через окно Волчка.
Истерзанный,
искусанный,
с обломанным плечом,

Волчок
в клоаке мусорной
встретился
с Мячом.
„Любимый мой!
Согласна я
стать
твоей женой!..“
(Сама ж
ужасно грязная,
с дыркой
выжженной)
Волчок
ответил,
сплунувши:

„Я был
когда-то
юношей,
теперь же
поостыл, —
иная ситуация...
к тому ж
решил остаться я
навек
холостым!..“

Тих
и нерадостен
кончил сказку
Андерсен,
и совсем
иначе
Афанасьев
начал.

— „Въ нѣкомѣ
государствѣ,
въ тридесѣтомѣ
царствѣ,

Тут промолвил Сеня нежно: — „Это ж длится бесконечно,
это старо, длинно, скучно, ну, а я весьма спешу“.
— „Погодите! — крикнул Гофман — пусть на миг утихнет гомон,
я прочту, что я пишу:

„В тысяча восемьсот... (звездочки) Ростом с Какаду.
году
в Городке Maschinenwilde
жил Советник von der Stinder

у того
царя Додэна,
у Великого
Дона,
что и
моря синевѣй,
было
трое сыновей.
Вот идет
первый сыно
мимо
черныхъ лѣсинъ,
а ему навстрѣчу —
ишь, какъ! —
лѣзетъ мышка-норышка,
куковушка-кукушка,
и лягушка-квакушка
изъ озерныхъ глубинъ:
ква-
кумъ-
бѣнь...

А за ними
кышь —
По-Лугу-Поскокишь,
а за ними —
вишь?
Я — Вѣсѣхъ-Васѣ-Давишь.
Лѣсиня
царевна
Лиса
Патриксѣвна,
из сосновыхъ
капишь —
Михаиль
Потапычь,
и фыркаетъ
кофейникомъ
Коть
Котофейниковъ...“

был der Kinder
Колдуном,
Ночью Дом
стоял вверх Дном,
и стоял
у Входа
Гном.

И была
у Колдуна
Дочка малая
одна —
kleine Mädchen,
kleine Mädchen,
kleine Tochter
Колдуна.
И скажу я Вам —
она
в Virtuоза
влюблена.

Der
Amandus
Zappelbaum,
Ваши
занята она.
Хочет
Mädchen
под венец,
просит Папу
наконец:

— „Погоди, товарищ Гофман, не довольно ли стихов нам? Нет ли здесь у вас „Известий“? Очень хочется прочесть Не о том, что вы сохрете, а статей и сводок вроде: „Рабселькор, возврат семсуды, резолюцию, протест...“ Брать постыдно и бестактно. Мы стоим на страже факта, здесь наш пост и наша вахта, (что рабочим до Камен?). Пыль цветистой лжи рассейте, обоснуйте при газете, где (хотите — поглазейте!) что ни слово — документ“. Лишь раздался звук „газету“ — дым пошел по кабинету, зашептали сказотворцы:
— „Брик! Брик!“
— „Бог избавь!“
И во время речи Сени сквозь трубу исчезли тени, стало ровным сновиденье, и растаяла изба.

„Der
Коммерции Советник,
уважаемый Отец,
я люблю
Amandus'a
Zappelbaum'a.

Если я
не выйду замуж,
то лишу
себя Ума!“
Как завоюет

Фондеркиндер:
„Эти Глупости
откинь ты,

ты уже
помолвлена
с грозным Духом
молнийным
Shogiamboflax'ом!
Вытри Слезы,
Плакса!“

И себя он
хлопнул по Лбу
взял, открыл
большую Колбу,
вынул Пробку —
Дым пошел,
синий,
складчатый,
как Шолк..“

Глава храмотическая, посвященная симфоническому воздуху консерватории и радиопередатчикам (-цам).

Зелено,
сыро
в тихой долине,
долине Лени,
и слабо звенит
в голубом отдалении
звон мандолиний.
В росной траве
стоят пианино,
домры и скрипки
и пролетают
мимо и мимо
звоны и скрипы.

Все музыка
занозила,
Сеня пьяный,
заиграло сонатину
фортепиано.
Это ведь сентиментальность,
это ж Диккенс!
Я и слушать не останусь,
это ж дикость!
Ах, кончайся, ах кончайся,
сонатина,
ты семейной скуки Чарльза
паутина.

Мышь летучая летает
в пелеринке
где-то мерзнет, холодая,
Пирибингль.
Кринолиновые ангелы
за лампою —
замерзающая Англия
сомнамбула.

Тише, тише, тише, тише, — домовые на педалях, сонатину оборви,
оборви же, расплети же, вот завывли нападаая: — Копперфини.
сон

сам
сел
в сонм
сов.
Синь,
До ре ми фа соль ля си.

Кринолиновые ангелы,
 за лампою,
 Замерзающая Англия
 Сомнамбула...
 Ты семейной скуки Чарльза
 паутина...
 Ах кончайся, ах кончайся,
 сонатина...
 В этот тихий
 в этот зыбкий
 ход музыки,
 нежной ленью
 наплывает
 утомленье.
 Сеня спит,
 и словно громы
 урагана...
 набегает
 грохот пальцев барабана.
 Смерч-марш
 арш-
 арш,
 марш-ерш
 барабанщик-морж,
 кинь морщь,
 скуку к матерям.
 „Старый барабанщик перевернулся,
 три копейки потерял!..“
 Зашумели долы
 свинцовою вьюгой,
 выскользнула флейта
 тонкой гадюкой,
 Пулемет татакает
 то здесь, а то там он,
 фортепяно топчется
 гиппопотамом.
 А медные трубы
 бросили игры —
 желтые львы
 и костистые тигры.
 И снова долина, и Сеня в долине,
 бредет по долине, по колени в глине.



Хлеб

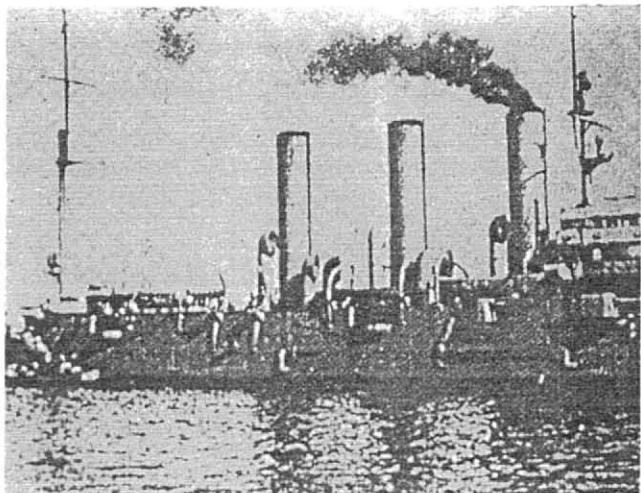
Что увидел фотограф из голодной Москвы в сытом Приволжье
 (из ревархива А. Р.).

Сахар





Масло (из ревархива А. Р.).



Кадр из фильма «Великий путь» (10 лет), работа Э. Шуб, производство Совкино.

7.

Молодым элегантам со складочкой эту неглаженную главу посвящает автор.

Щиплет, щиплет
ноги снег
(баишаков у Сени нет!).
Сене слышен
тихий смех
В снеговой белизне.
Качаются со смеху
Елочки и сосенки,
сдерживают колики:
— Голенький,
голенький!
как тебе не стыдно?
все у тебя видно!
Сеня сдерживает прыть,
(Хоть листочками прикрыть!)
и мечты
башку роят
мыслями выласканы,
вся Петровка
мимо вряд
пролетает вывесками.
Вот на полках
легкий ситец.
Покупайте
и носите
и колосья
чесучи
Жните
руки засучив.
Смотрит Сеня
рот разинув
На сатин
и парусину,
Издает
восторга стон,
поглядевши
на бостон.
А хозяин чародей
не чета Мосторгу:
Никаких очередей
и без торгу!

— Отдаю
без интереса,
Одевай,
галантерейся,
шалью шелковой
шалья,
соболь,
котик,
шеншиля.
Надевай, малыш,
корсет,
Надевай
белье жерсе!

Тащут ловкие
гарсоны
две сорочки
и кальсоны.
Неглиже,
дезабиле.
Сеня
в егерском белье,
на белье —
четыре майки,
а на майке
— две фуфайки.

„— Мы сейчас
увяжем вас
в файдешинный
самовяз!“

Денег нечего
жалеть;
сверху
вязаный жилет.
цепь с брелками
на брюхе,
черный фрак,
на шлейках брюки,
Туфли лак,
а сверху боты
изумительной работы.
Тут хозяин
лопнул —
Паффи
Сеня стукнулся
упав,

Пуфф...
и магазин растаял,
в небесах
платочков стая...
Сеня встал
едва дыша:
невозможно
сделать шаг,
в тесноте
суконных пут
несомненно
десять пуд,
и рукав
нельзя поднять...
— Западня!
Хлоп!
И стукнулся об камень...
— Я в капкане!
Сеня в плач
(хгы-хгы).
Сеня в рев,
с горя лягу я
в темный ров.
И во рву
и во рву
волосы изорву...
По камням
кап-кап
легонький
и тощий
на цыплячьих
лапках
загулял
дождик.
Расцепил
кнопки
сениной
обновки,
тихо
и без шуму
распустил
шубу.
„— Сеня,
не пугайся:
пусть цилиндр
взмокнет,
развяжу
галстук,

отнесу
 смокинг".
 Стало легче
 Сене
 бежать
 по шоссеиной.
 Сене
 сны стали
 сниться
 яснее...
 Голубы
 дали,
 широки
 снега.

8.

Глава игральная, доказывающая преимущества полезных и разумных развлечений.

„КТО НЕ РАБОТАЕТ
 ТОТ НЕ ЕСТ!“ —
 Однако

Встал швейцар,
 освещен подъезд
 казино „МОНАКО“.

Сияющий зал.
 От ламп круги,
 Шарик летит...
 Замирай...
 Всю жизнь
 сумасшедшие игроки
 записывают номера.
 Ползут морщины
 по бледным лбам,
 сидят
 толстовки горбя...
 „N' est pas là comme ça,
 à tout la va banque,
 chemin-de fair,
 écarté,
 пур-буар“.

Лицом
 на граненой люстры
 зенит
 перевортывается валет,
 и секунду лежит,

и секунду звенит
 баллада
 валетовых лет:

„Я должен видеть даму пик
 в атласе и плюще,
 Которой знак сидеть привык
 Вороной на плече.
 Под веткой яблонной трофеей
 в колоде голубой...
 ее, как воинский трофей,
 я заберу с собой.
 Вниз головой, вверх головой
 в колоде голубой,
 минувших лет эквивалент,
 — Monsieur, так вы — валет?!
 В цепи нагрудной блеск камней,
 берет студента — синь.
 О дама пик, приди ко мне,
 и сердце принеси.
 Но в дом развееренных карт
 идет, идет король,
 и на десяток черных карт
 с плеча глядит орел.
 В кустах пиковых путь тернист.
 сердца горят в лесу,
 удар — бубновой пятерни
 бумажному лицу.
 Посылка.
 — Спасенья... Дама!.. А!.. И вот
 игрок, входя в азарт,
 меня в клочки с досадой рвет,
 прощай, Колода Карт!“

Сеню обступили:
 „— Сыграйте!
 Сыграйте!“

Мечется Семен
 в человеческой ограде.
 В углу
 китайянки
 и англичанки
 руки вымывают
 в звенящем ма-жанге:
 Никакой пользы
 от камня чужого —
 выкинут бамбук,
 объявлено чжоу.

Распирает
стены стон,
стены рухнули
на слом.
И Семен
башкой к луне
уезжает
на слоне.

9.

Глава, доказывающая пылкую любовь автора
к вдохновенным и отечественным лирикам.

Семен себя
торопит,
но вдруг —
сверкнувший луч,
и поперек дороги
журчит
Кастальский ключ.
Воды все больше
прибыль,
волны — костяки,
плывут, плывут —
не рыбы,
плывут, плывут стихи.

„Постой, останься, Сеня,
будет злой конец,
Проглотишь без сомненья
трагический свинец.
Твой папа кровью брызнет,
и должен он сгореть,
а кроме права жизни
есть право умереть.
Он не придет к низине
поверь мне, так же вот,
как летний лебедь к зимним
озерам не придет.

— Никогда, никогда,
я не думал, не гадал,
чтоб могла как В. Качалов
декламировать вода! —
А вода как закачала,
как пошла петь сначала:

„Эх, калина, эх рябина,
комсомольская судьбина,
Комсомольцы на лугу,
я Марусеньку люблю,
Тишь и мир во всей природе,
я рабочее отродье.
Дай, любимая, мне губки,
поцелую заново,
у тебя ведь вместо юбки
пятый том Плеханова“,

Ах, восторг,
эх, восторг!
(пролетела
тыща строк).

Ну а Сене
не к потехе,
надо ж быть
ему в аптеке,
Город блящит
впереди,
надо ж речку
перейти.

Но мертвых стихов
плывут костяки,
плывут, проплывают
трупы-стихи.

„Отлетай, пропащее детство,
Алкоголь осыпает года,
Пусть умрет, как собака, отец твой,
Не умру я, мой друг, никогда!“

Стихи не стихают...
— Тут мне погибель
Как мне пройти
сквозь стиховную кипень?
Аптека вблизи,
и город вблизи,
а мне помереть
в стихотворной грязи.

В то время я жил
на Рождественке 2,
И слабо услышал
как плачется Сеня,

6-8
2

вскочил на трамвай,
 не свалился едва,
 под грохот колес,
 на булыжник весенний.
 И где ужас
 Семена в оковы сковал,
 Через черные,
 мертвые водоросли
 перекинул
 строку
 Маяковского
 „ГОД ОТ ГОДА РАСТИ НАШЕЙ БОДРОСТИ“.
 и канатным
 плясуном
 по строке
 прошел Семен.

10.

Глава эта посвящается ядам и людям, ядами управляющим.

В золотой
 блистают
 неге
 над людскою
 массою —
 буквы
 АРОТНЕКЕ,
 буквы
 PHARMASIE.
 Тихий воздух —
 валерьянка.
 Аптечное царство,
 где живут,
 стоят по рангам
 разные лекарства.
 Ни фокстрота,
 ни джаз-банда,
 все живут
 в стеклянных банках,
 белых,
 как перлы,
 И страну правит царь
 Государь Скипидар,
 Скипидар Первый.
 А премьер
 царевый брат

граф Бутилхлоралгидрат
 старый, слабый...
 И глядят на них
 с боков
 бюсты гипсовых богов
 старых эскулапов.

Вечера —
 в старинных танцах
 с фрейлинами-дурами,
 шлейфы
 старых фрейлин тянутся
 сигнатурами.

Был у них
 домашний скот,
 но и он
 не делал шкод,
 на свободу
 плюнули
 капсули
 с пилюлями.

Кто идет?
 Кто идет?
 Грозно спрашивает
 негод.

Разевая
 пробку-рот
 Зашипел
 Нарзан-герольд.
 — Царь!
 орет нарзаный рот:
 Мальчик Сеня
 у ворот!

Рассердился Скипидар;
 — Собирайтесь, господа:
 собирайтесь, антисепты!
 перепутайте рецепты!

Не госсиниум фератум —
 вазогенум нодатум,
 вместо ноди и рицини —
 лейте тинкти никотинни!
 Ого-го, ого-го,
 будет страшная месь
 Лейте вместо H₂O
 H₂SI!

Тут выходит
 фармацевт,

— Покажи-ка мне
рецепт!..
Не волнуйся, мальчик,
даром
тут проделки
Скипидара!
Я ему сейчас
воздам,
Марш по местам!

Банки стали
тихими,
скрежеща
от муки,
тут часы
затикали,
зажжужали
мухи.

Добрый дядя
фармацевт
проверяет
рецепт,
ходит, ищет,
спину горбит,
там возьмет он
снежный корпий,
там по баночке
колотит,
выбирает
иод,
коллодий,
завернул в бумагу
бинт,
ни упреков,
ни обид,
и на дядю
Сеня,
глядя —
думал:

— Настоящий дядя!
старый,
а не робкий...

Вот так счастье.
Вот веселье!

Фармацевт подносит
Сене
две больших коробки...

11.

Глава главная.

Может
утро проворонишь,
минет час
восьмой,
и на лапки,
как звереныш,
стал
будильник мой.
Грудь часов
пружинка давит,
ход колесный тих.
Сердце
Рики-Тики-Тави
у часов моих.
Муравей
попал к секундам,
(клип-клип-клип-кляп-кляп)
Не уйти ему
отсюда,
он в круженье влип.
На исходе
сна и ночи
к утру и концу
с дорогой,
пахучей ношей
Сеня мчит к отцу.
С синим звоном
склянок дивных
обгоняя тень.
Но уже
поет будильник,
бьет будильник день.
Но сквозь пальцы
льется кальций,
льется, льется иод,
а будильник —
Просыпайся!
Сеня!
День!
поет.

Пронести б
коробки к дому!
(льется под из дыр).
А будильник
бьется громом
дробью, дрожью —
ДДРРРР!
Вот и завтра,
вот и завтра,
Сеня,
вот и явь!
Вот и чайник
паром задран,
медью
засияв.
Вот у примуса
мамаша,
снегом
двор одет,
и яичницы ромашка
на сковороде.

И звенит,
звенит будильник,
и мяучит кот:
Ты сегодня
именинник,
Двадцать Первый Год!
Видит Сеня —
та же сырость
в комнатной тиши,
видит Сеня
— я же вырос,
я же стал большим.
Все на том же,
том же месте,
только я
не тот,
стукнул мой
красноармейский
Двадцать Первый Год.

Сказка ложь.
и ночь туманна,
ясен ствол ружья,
— Ну пора!
В дорогу, мама,
сына снаряжай!

Поделуй бойца
Семена
в молодежавый ус,
положи
в кошель ремённый
хлеба
черный кус!
В хлопья,
в светлом
в снежном блеске —
ухожу в поход,
в молодой,
красноармейский
двадцать первый год!

Только не воспоминания...

В. Маяковский

Только не воспоминания. Нам и не пофутуристически и не по душе эти самые „вечера“. Я предпочел бы объявить или „утро предположений“ или „полдень оповещений“.

Но...

За эти десять лет ставилось, разрешалось, отстаивалось огромное количество вопросов политики, хозяйства, отчасти и культуры.

Что можно возразить утверждающему: „Мы обещали мир, мы обещали хлеб, и это (если не покусятся окружающие)—у нас подруками“.

Длительнее и путаннее — вопросы так называемого искусства.

Многие из этих паршивых, надстроечных вопросов еще и сейчас болтаются (вернее разбалтываются) так же, как они трепетали в первый октябрьский ветер.

Эти вопросы все время ставятся нами с первых же дней боевых затий и вновь отодвигаются „английскими угрозами“, „все силы на борьбу с бюрократизмом“ и т. п.

Как сделать театр рабочим без всякой „буржуазной полосы“?

Надо ли рисовать портрет лошади Буденного?

Читают ли бузулукские крестьяне стихи Молчанова?

На чорта нам „Лакме“?

Гармошка или арфа?

Что такое „форма“?

Что такое „содержание“ и кто на нем состоит?

Неизвестно!

Эти вопросы будет ставить и новое десятилетие, и не для того, чтобы кричать „и я, и я“, и не для того, чтобы украсить флагами лефовские фронтоны, — мы пересматриваем года.

Эта — корректура лефа, это — лишняя возможность избежать ошибки в живом решении вопросов искусства.

Понятно, что в моих заметках я должен, к сожалению, говорить и о себе.

Первые послеоктябрьские собрания работников искусства шли в залах „Императорской академии художеств“.

Нет в мире отвратительнее здания. Каменные коридоры лабиринтом, все похожие друг на друга, и думаю, что не имеющие выходов.

Строитель академии, обойдя свое здание, сам от него повесился на чердаке. Здесь под председательством архитектора Таманова собрался союз деятелей искусств. Неестественным путем революции перемешались все, от беспардонного ослиннохвостца юнца Зданевича, до каких-то ворочающих неслышащими, заткнутыми ватой ушами профессоров, о которых, я думаю, уже появились некрологи.

Впервые многие художники узнали, что кроме масляных красок и цены на картину есть и какие-то политические вопросы.

Ярость непонимания доходила до пределов. Не помню повода, но явилось чье-то предположение, что я могу с какой-то организационной комиссией влезть в академию. Тогда один бородач встал и заявил:

— Только через мой труп Маяковский войдет в академию, а если он все-таки пойдет, я буду стрелять.

Вот оно внеклассовое искусство.

Возникают и обостряются противоположные предложения. Кто-то требует создания комиссии по охране памятников старины. И сейчас же предложение, кажется художника Льва Бруни, — „создать комиссию по планомерному разрушению памятников искусства и старины“.

Кто-то просит послать охрану в разрушаемую помещичью усадьбу: тоже-де памятник и тоже старина.

И сейчас же О. Брик:

— Помещики были богаты, от этого их усадьбы — памятники искусства. Помещики существуют давно, поэтому их искусство старо. Защищать памятники старины — защищать помещиков. Долой!

Мнение академической части гениально подытожил писатель Федор Сологуб. Он сказал:

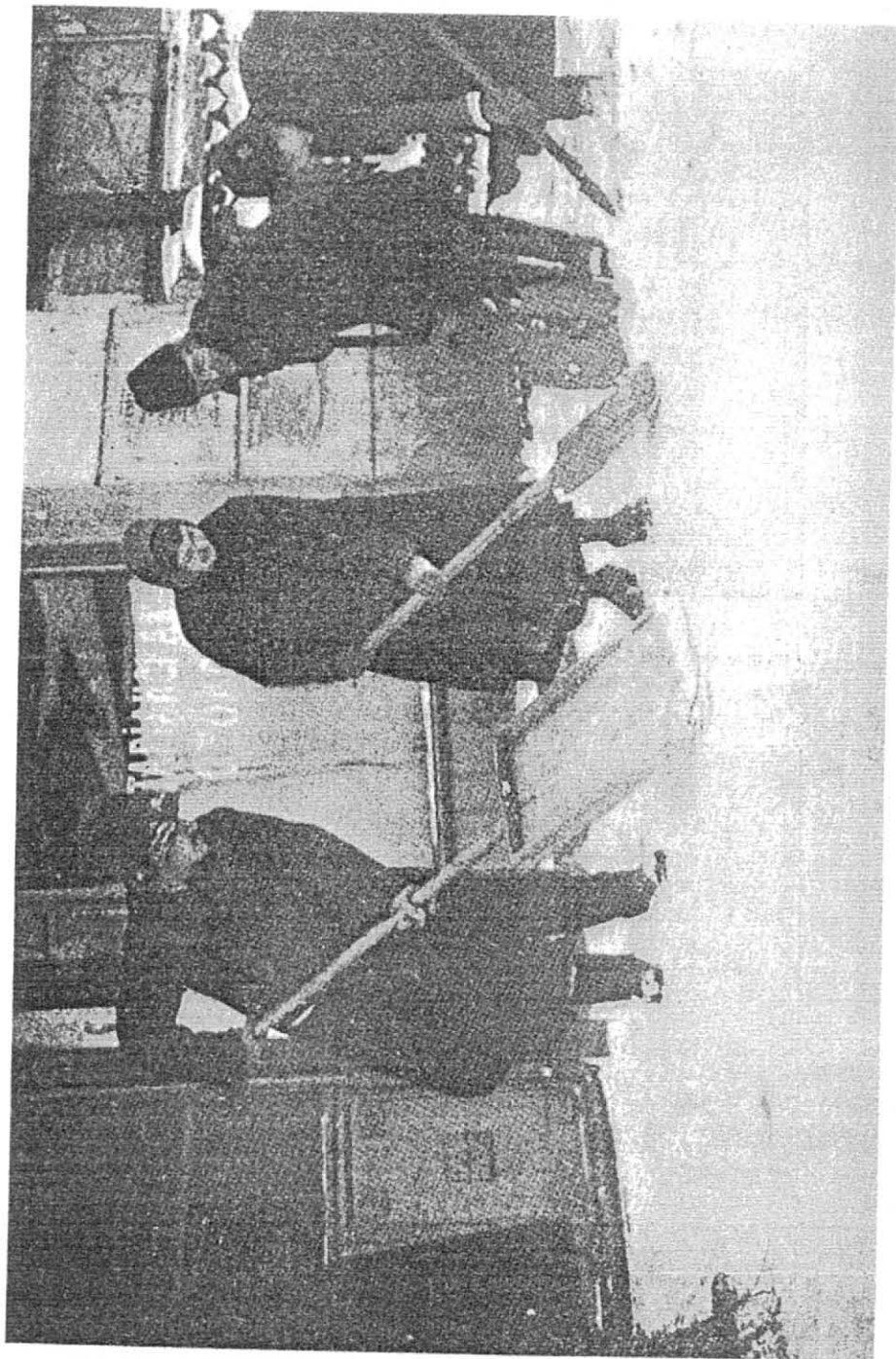
— Революции разрушают памятники искусств. Надо запретить революции в городах, богатых памятниками, как например, Петербург. Пускай воюют где-нибудь за чертой и только победители войдут в город.

Есть легенда, твердая часто и сейчас: де футуристы захватили власть над искусством. Причем слово „захватили“ рассматривалось как обида, нанесенная деятелям старого искусства.

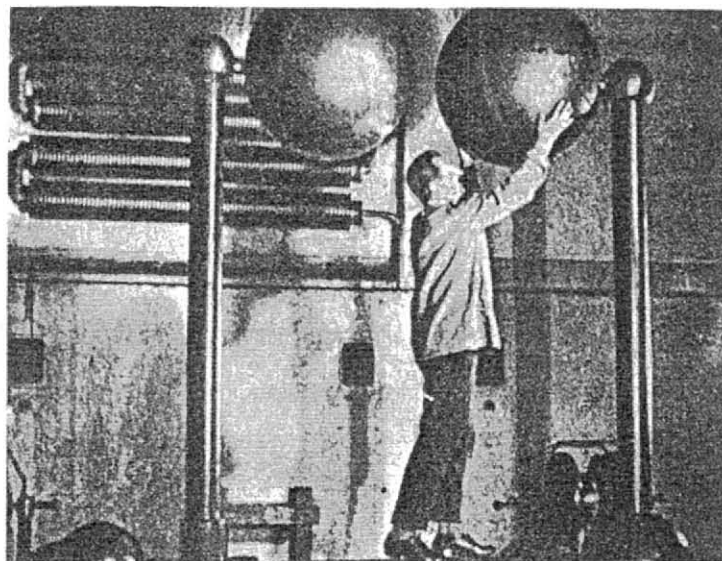
Захватили, мол, грубостью и нахальством, и скромные цветочки душ старых эстетов, готовые распусться навстречу революции, были смяты. (Распустились только лет через пять разными ак-ахрами.)

Искусство захватить нельзя (оно воздух), но я все же интересуюсь:

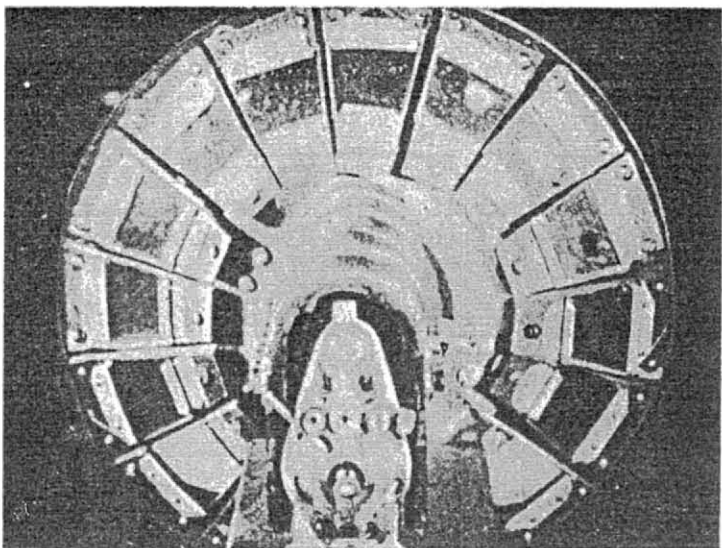
Что для рабочего клуба выросло из Сологуба?



Трудновидность из воздуха



Кадры из фильма „Радио“, режиссер А. Лавинский, производство Совкино.



Кабачок-подвал „Бродячая собака“ перешел в „Привал комедиантов“.

Но собаки все же сюда заворачивали.

Перед Октябрьской я всегда видел у самой эстрады Савинкова, Кузьмина. Они слушали. На эстраде распевал частушечный хор Евреиннова.

„Четвертной лежит билет,
А поднять охоты нет.
Для ча этот мне билет,
Если в лавке хлеба нет?!“

К привалу стали приваливаться остатки фешенебельного и богатого Петербурга. В такт какой-то разухабистой музычке я сделал двестише.

„Ешь ананасы, рябчиков жуй.
День твой последний приходит, буржуй“.

Это двестише стало моим любимейшим стихом: петербургские газеты первых дней Октября писали, что матросы шли на Зимний, напевая какую-то песенку

„Ешь ананасы и т. д.“

Конечно, этой литературой не ограничилась связь футуристов с массой, делавшей революцию. С первых дней семнадцатилетняя коммунистка Выборгского района Муся Натансон стала водить нас через пустыри, мосты и груды железного лома по клубам, заводам Выборгского и Василеостровского районов.

Я читал все, что у меня было; главным образом „Поэтохронику“, „Левый“, „Войну и мир“ и сатириконские вещи.

Полонских между нами никаких не было, поэтому все всё понимали.

Начались первые попытки агитпоэзии. К годовщине Октября (1918 г.) была издана „Изо“ пачка одноцветных плакатов под названием „Герои и жертвы революции“. Рисунки с частушечными подписями. Помню:

Генерал:

„И честь никто не отдаст,
и нет суконца алова,
рабочему на флаг пошла
подкладка генералова“,

Банкир:

„Долю не найдешь другую
тяжелей банкирочной...
Встал, селедками торгуя,
на углу у Кирочной“.

Это жертвы.

Герои: матрос, рабочий железнодорожник, красноармеец:

„То, что знамя красное рдеет —
дело руки красногвардейца“.

У меня этой папки нет. Сохранилась ли она у кого-нибудь?

Эта папка развилась в будущем во весь революционный плакат. Для нас — главным образом в „окна сатиры Роста“.

Окна Роста — фантастическая вещь. Это обслуживание горстью художников, вручную, стопятидесятиллионного народища.

Это телеграфные вести, моментально переделанные в плакат, это декреты, сейчас же распубликованные частушкой.

Эстрадный характер поэзии, „заборный“ характер — это не только отсутствие бумаги, это бешеный темп революции, за которым не могла угнаться печатная техника.

Эта новая форма, введенная непосредственно жизнью. Это огромные (постепенно перешедшие на размножение трафаретом) листы, развешиваемые по вокзалам, фронтовым агитпунктам, огромным витринам пустых магазинов.

Это те плакаты, которые перед боем смотрели красноармейцы, идущие в атаку, идущие не с молитвой, а с распевом частушек.

Это тот „изуственный период российской литературы“, на который сейчас пофыркивают и от которого отплевываются всякие Лежневы.

Я помню замирание этой работы.

Пришел расклейщик, толстенький Михайлов, и сообщил:

— У Елисева запрещают вывешивать — там теперь магазин открывается.

И долго еще виднелись по Москве дамские головки и текст киноафиш, выделанный нашими ростинскими трафаретчиками.

О качестве работы судите сами. Количество ее было непомерно. У меня комната на Лубянской проезде; я работал в ней часов до двух ночи и ложился спать, подложив под голову не подушку, а простое полено, — это для того, чтобы не проспать и успеть вовремя обвести тушью ресницы разным Юденичам и Деникиным. Вся эта работа, кроме одиноких листов в Музее революции, конечно, погибла. Эти подписи делались в подавляющем количестве мною. Отдельные подписи О. Брига (о картошке: „Товарищи, очень неприятно: на картошке появились пятна“), Риты Райт (о прививке оспы) и Вольпина.

Было много у меня и хороших и популярных стихов — они не вошли ни в одно собрание сочинений.

Например:

„Мчит Пилсудский, пыль столбом,
звон идет от марша.
Разобьется глупым лбом
об коммунистический маршал“.

Или:

„Тот, кто уголь спер — и шасть,
всех бандитов гаже:
Всё равно, что обокрасть
Самого себя же“ и т. д.

Или:

„Побывал у Дутова,
Матушки!
Отпустили вздутого,
Батюшки!“ и т. д.

Или:

„Подходи, рабочий, обсудим дай-ка,
Что это за вещь такая — „Гайка“ и т. д.
(нормализация гайки).

И бесконечное количество лозунгов:

„На польский фронт, под винтовку, мигом,
Если быть не хотите под польским игом“.

Или:

„Украинцев и русских клич один:
Да не будет пан над рабочим господин!“

Или:

„Чтоб не было брюхо пороженьким,
Помогай железнодорожникам“.

Или:

„Но паразиты, никогда“, это на тему о борьбе с вошью, и т. д. и т. д., и т. д.

Меня эстеты часто винят в принижении поэтических качеств стиха. Впрочем, наплевать на эстетов.

Нас, лефов, часто упрекают в непонятности массе. Может быть, остальные понятнее, но я не имел случая сравнить и убедиться. Ни Алексей Толстой, ни Пантелеймон Романов, ни даже Клычков никаких подписей мне не давали. Возможно, они собирали ниточки для будущих эпических полотен.

„Мистерию Буфф“ я написал за месяц до первой октябрьской годовщины.

В числе других на первом чтении были и Луначарский и Мейерхольд.

Отзывались роскошно.

Окончательно утвердил хорошее мнение шофер Анатолия Васильевича, который слушал тоже и подтвердил, что ему понятно и до масс дойдет.

Чего же еще?

А еще вот чего:

„Мистерия“ была прочитана в комиссии праздников и, конечно, немедленно подтверждена к постановке. Еще бы! При всех ее недостатках она достаточно революционна, отличалась от всех репертуаров.

Но пьесе нужен театр.

Театра не находилось. Насквозь забиты Макбетами. Предоставили нам цирк, разбитый и разломанный митингами.

Затем и цирк завтео М. Ф. Андреева предписала отобрать.

Я никогда не видел Анатолия Васильевича кричащим, но тут рассвирепел и он.

Через минуту я уже волочил бумажку с печатью насчет палок и насчет колес.

Дали Музыкальную драму.

Актеров, конечно, взяли сборных.

Аппарат театра мешал во всем, в чем и можно и нельзя. Закрывал входы и запирали гвозди.

Даже отпечатанный экземпляр „Мистерии Буфф“ запретили выставлять на своем, оваянном искусством и традициями, прилавке.

Только в самый день спектакля принесли афиши — и то нераскрашенный контур — и тут же заявили, что клеить никому не велено.

Я раскрасил афишу от руки.

Наша прислуга Тоня шла с афишами и с обояными гвоздочками по Невскому и — где влезал гвоздь — приколачивала тотчас же срываемую ветром афишу.

И наконец в самый вечер один за другим стали пропадать актеры.

Пришлось мне самому на скорую руку играть и „Человека просто“ и „Мафусаила“, и кого-то из чертей.

А через день „Мистерию“ разобрали, и опять на радость акам занудили Макбеты. Еще бы. Сама Андреева играла саму Лэди. Это вам не Мафусаил!

По предложению О. Д. Каменевой, я перекинулся с „Мистерией“ в Москву.

Читал в каком-то театральном ареопаге для самого Комиссаржевского.

Сам послушал, сказал, что превосходно, и через несколько дней... сбежал в Париж.

Тогда за „Мистерию“ вступился театральная отдел, во главе которого встал Мейерхольд.

Мейерхольд решил ставить „Мистерию“ снова.

Я осовременил текст.

В нетопленных коридорах и фойе первого театра РСФСР шли бесконечные репетиции.

В конце всех репетиций пришла бумага — „ввиду огромных затрат и вредности пьесы, таковую прекратить“.

Я вывесил афишу, в которой созывал в холодный театр товарищей из ЦК и МК, из Рабкрини.

Я читал „Мистерию“ с подъемом, с которым обязан читать тот, кому надо не только разогреть аудиторию, но и разогреться самому, чтобы не замерзнуть.

Дошло.

Под конец чтения один из присутствующих работников Моссовета (почему-то он сидел со скрипкой) заиграл Интернационал — и замерзший театр пел без всякого праздника.

Результат „закрытия“ был самый неожиданный — собрание при-

няло резолюцию, требующую постановки „Мистерии“ в Большом театре.

Словом — репетиции продолжались.

Парадный спектакль, опять приуроченный к годовщине, был готов.

И вот накануне приходит новая бумажка, предписывающая снять „Мистерию“ с постановки, и по театру РСФСР развесили афиши какого-то пошлейшего юбилейного концерта.

Немедленно Мейерхольд, я и ячейка театра двинулись в МК. Выяснилось, что кто-то обозвал „Мистерию“ балаганом, не соответствующим торжественному дню, и кто-то обиделся на высмеивание Толстого (любопытно, что свое негодование на легкомысленное отношение к Толстому высказал мне в антракте первого спектакля и Дуров).

Была назначена комиссия под председательством Драудина. Ночью я читал „Мистерию“ комиссии. Драудин, которому, очевидно, незачем старые литтрадиции, становился постепенно на сторону вещи и под конец зашагал по комнате, в нервах говоря одно слово:

— Дуры, дуры, дуры!

Это по адресу запретивших пьесу.

„Мистерия Буфф“ шла у Мейерхольда 100 раз. И три раза феерическим зрелищем на немецком языке в цирке, в дни третьего Конгресса Коминтерна.

И это зрелище разобрали на третий день — заправили цирка решали, что лошади застоялись.

На фоне идущей „Мистерии“ продолжалась моя борьба за нее.

Много месяцев я пытался получить свою построчную плату, но мне возвращали заявления с надписями или с устной резолюцией:

— Не платить за такую дрянь считаю своей заслугой.

После двух судов и это наконец разрешилось уже в Наркомтруде у т. Шмидта, и я вез домой муку, крупу и сахар — эквивалент строк.

Есть одна распространеннейшая клевета — де эти лефы обнимаются с революцией постольку, поскольку им легче протаскивать сквозь печать к полномынным кассам свои произведения.

Сухой перечень моих боев за „Мистерию“ достаточно опровергнет этот вздор.

То же было и с „150 000 000“, и с „Про это“, и с другими стихами. Трудностей не меньше.

Непосредственная трудность борьбы со старьем, характеризующая жизнь революционного писателя до революции, заменилась наследством этого старья — эстетической косностью. Конечно, с тем прекрасным коррективом, что в стране революции в конечном итоге побеждает не косность, а новая левая революционная вещь.

Но глотку, хватку и энергию иметь надо.

В июне этого года я поехал читать стихи в Сталино. Этот растущий город омываем железными дорогами. Станций семь подходят к нему, но каждая не ближе чем на 10—15 верст.

После стихов я возвращался мимо отбросных гор через черные поля. Не доезжая Артемовска лопнула одна камера, проезжая Артемовск, другая. Шофер снял покрышки и поехал, подпрыгивая на голом железе колес.

Я первый раз видел, чтобы так насиловали технику.

С естественной тревогой я спросил шофера;

— Что вы делаете, товарищ?!

Шофер отвечал спокойно:

— Мы не буржуи, мы как-нибудь, понашему, посоветскому!

У нас к искусству часто встречается такое шоферское отношение.

— Какие там лефы! Где уж нам уж...

— Нам попростому, посоветскому.

Наша победа не в опрощении, а в охвате всей сложнейшей культуры.

Меньше ахрров — больше индустриализации.

Октябрь на Дальнем.

Н. Асеев.

I. Дальний Восток.

Желтоглазые стойки вокзальных буфетов с выстроившимися рядами мельхиоровых подстаканников, звяканье ложечек, шарканье подошв, бляхи носильщиков, шумные вздохи паровозов, врывающиеся в распахнутые двери, станция Зима, станция Тайга, станция Хантахедзы — все одинаковые поразному; винтовой взлет Кругобайкалки, где поездной состав загибается скорпионом к собственному хвосту; маньчжурская тучная равнина, пыльно пахнущая черемшой — полевым чесноком, и за нею дикая прелесь Приморья со смоляной кедровой хвоей, заплетенная багряными стенами осенних листьев дикого винограда, зеленеющая круглоголовыми сопками, точно усталыми коврами, чернеющая каменным углем, выпирающим прямо из стен вдоль полотна, с какими-то пятнами и узорами сланцев и руд, прорезающих породу.

Это путь на Дальний Восток.

То, что улеглось и связалось в двадцать фраз вот сейчас, тогда тянулось больше месяца.

Бесконечная качка вагонов, взвизги колес, монотонное пение буферных цепей, хрипы букс, позванивание молота о сталь — тридцать шесть дней в вагоне, набитом до отказа фронтальной человекообразной сельдью, длинный путь мой на Дальний Восток в неизвестные места в солдатской шинели рядового 34 запасного полка.

И внезапно — конец, остановка, берег — дальше ехать некуда.

Город рушится лавиной с сопки в океан, город, высвистанный длинными губами тайфунов, вымытый, как кости скелета, сбегавшей по его ребрам водой затяжных дождей. Владивосток.

Мне, вышедшему из тридцатидневной тряски, мельканья, движения и суматохи, он показался плывущим по океану, врезывающим своим портовым бугшпритом воды Амурского залива с одной и бухты Золотого Рога — с другой стороны.

Я стал на главной Светланской улице и смотрел, как продолжает нестись навстречу мне земля, только что пересеченная в масштабе девяти тысяч верст.

Никого знакомых у меня не было. Октябрь только что наступил.

Я радовался ему, как змея, наверное, радуется смене кожи. Но что мне делать, я не знал.

И пошел во Владивостокский совет спросить, что мне делать.

Сейчас же после Февральской революции я, двадцатисемилетний поэт, выученик символистов, отталкивавшийся от них, как ребенок отталкивается от стены, держась за которую он учится ходить; я, увлекавшийся переводами Маллармэ и Верлена и Вьеле Гриффэна, благоволивший перед Теодором Амеедем Гофманом, восторженно носивший в сердце силу и выдержку горестной судьбы Оскара Уальда, одним словом, я — рафинированный интеллигент — с удовольствием заметил, что нет больше силы, которая заставляла меня носить костюм каторжника — мою тяжеловесную прокарболенную шкуру рядового 34-го запасного полка.

Старая культура оттремела за плечами, как ушедшая туча. Возврата к ней для меня, недостаточно приросшего к ней, недостаточно пустившего в нее корни — быть не могло; на моих чувствах и мыслях не были еще набиты мозоли привычек. И радость от изменения поношенных черт мирового лица несла меня в сторону нового. Это новое не было миросозерцанием. Оно для меня, да и для большинства окружавших скорее было выходом из старого, возможностью, предошущением, тем, что выражалось в коротеньком определении „хуже не будет“, определении, ставившем многих на невозвратный путь.

И вот, вынесенный лавиной солдатских тел из прифронтальной полосы, стоял я на улице чужого города.

Город падал на меня с высоты сопки; он кренился к морю стенами спадающих отрогов. Густо вплотную кипел вокруг меня незнакомый быт. Люди в синих длиннополых халатах обтекали меня сплошной массой. Они плевали, скалили белые зубы, жестикулировали, спорили и перекликались, певуче и горланно придыхая. Звуки вибрирующих струн слышались в их интонациях. Я не понимал не только их слов, но и их интонаций. Мне казалось, что они переругиваются и упрекают в чем-то один другого, а они вслед за тем хлопали друг друга по плечу и заливались понимающим смехом. Их мимика, жесты, интонации были настроены по камертону чуждого мне быта. Непонятные фрукты и цветы окружали

8-9 039

меня толпой. Черные поблескивающие сланцем рогожи с трепангами растлались у моих ног чудовищными пиршествами; розовые гирлянды огромных крабов висели на мачтах джонок. Все было чуждо и враждебно мне. Что мне было делать с моей любовью к „Балладе Реддингской тюрьмы?“

В городе кроме жены у меня была лишь одна знакомая; она тоже еще не освоилась с местом. Ей тоже были непонятны сладководянистое мясо безароматных фруктов, выпученные глаза собак-рыб, неприютность осенних вечеров, рогульки носильщиков, кожура земляных орехов, устилающая тротуар вместо подсолнуховой скорлупы.

Эта единственная моя знакомая здесь — была Революция.

Я стоял на улице, на углу морского управления, и старался узнать, где помещается совет рабочих и солдатских депутатов. Мимо меня проходили японцы, похожие на летучих мышей, корейцы — на священников, китайцы, стриженные и с косами толстых жестких волос. Китайцы-мужчины в женоподобных одеждах и китаянки-женщины — лысые и в штанах. Я обращался к ним с просьбой указать мне, где помещается совет. Русских я не спрашивал. Русские, проходившие мимо меня, были насторожены и озлоблены. Это были по большей части чиновники и коммерсанты, ужаснувшиеся опасности, угрожавшей их налаженной жизни. Наконец подвернулся матрос:

— Совет? Да вот он напротив. Вы прямо на него глядите. Айда вместе, я тоже туда.

Из всех, кого я встретил в совете, нужен мне теперь для воспоминаний рабочий Петр Никифоров, выслушавший и приметивший меня. Он тогда устраивал биржу труда. И поговорив со мной, предложил мне идти к нему в помощники.

Так на первых шагах на Дальнем Востоке определилась моя судьба.

Биржу труда устраивать было трудно. Записи принимались на блок-ногах, помещение было на двадцать человек. Никифоров, жилистый, сутулый с прямым взором человек. Он растягивал себе жилы, стараясь организовать, упорядочить, устроить всю разнородную, распоясанную массу грузчиков, чернорабочих, плотников, каменщиков, солдат, обиженных жен, инвалидов и еще и еще разношерстного люда, ломившегося к нам с утра и требовавшего устройства своих дел.

Мы с Никифоровым толковали об искусстве.

Его предложения были: национализировать местный кинематограф, чтобы открыть там студию нового театра и литературы. А пока он предложил мне проехать, как представителю биржи труда, на Сучанские копи, где произошла какая-то заминка в добыче. Расследовать и уладить.

Я купил себе рубашку из собачьей шерсти и поехал на копи.

Ветры на Дальнем Востоке серьезные. Средняя сила их такова, что, идя против ветра, можно грудью ложиться на него, как на барьер. Или еще похоже: в ветер вкладываешься, как бурлак

в ляжку, и только тяжестью своего веса можно продвигаться вперед. Ветер идет густой стеклянной массой, подпирая тебя спереди, а дышать можно, только спрятав нос в рукав, да и то неполным дыханием.

Если в такой ветер очутиться на открытой платформе поезда, то нужно лечь вдоль борта платформы и не поднимать головы. Иначе — кажется, будто ее отрывает железнодорожным перекрытием.

На Сучанских копиях дело было такое. Владелец еще не национализированных копей взорвал бидон с каким-то горючим веществом в пустой шахте. Взрыв был похож на взрыв газов, и рабочие отказались идти в шахту. Владелец сделал это нарочно: ему было невыгодно вырывать уголь по твердой цене. Кроме того он был против рабочего контроля, еще только вводимого тогда.

Нужно было лезть в шахту. Если этого боялись рабочие — боялся и я. Но один молодой парень, заметив мою нерешительность, отозвал в сторону и предложил спуститься вместе. Он знал про взрыв бензина.

Шахта старая, слезливая. С десяти саженей — клетку уже сплошь обливает леденеющая на ней вода. Крепы гнилы и покрыты плесенью. Клетка идет вниз медленно. Остановка. По мосткам мы проходили в галерею.

Китаец-откатчик лежит на боку на куче породы и тянет фистулой жалобную песенку. Фонари тускло освещают балки, крепы, инвентарь. Мы проходим, пригибаясь, а иногда и ползком, к забою.

Бидон с развороченным боком, обрывок фитиля — наша добыча. Осматриваем незначительные повреждения, поднимаемся наверх.

Опять ледяной душ над клеткой, пласты породы, тусклые отблески сланцев, сталактиты соли, наконец глина, супесок, земля — и мы опять на вольном воздухе.

Мне стало бодро и весело.

Значит, не такой уж я никчемный поэт, никуда не гожий, никому не нужный излагатель впечатлений, если сумел преодолеть страх, сумел разоблачить хозяйскую махинацию, введшую в заблуждение старых рабочих.

Возвращаемся назад.

На железном тросе вверх от шахты к станции тянутся вагонетки. Здесь же раньше ходил паровичек. Тросом тянули целый состав. Теперь трос лопнул, а нового выплести нельзя (1918 г.).

Поэтому мы едем на санях.

Сибирская езда — под гору во весь дух галопом, на поворотах не задерживают бега. Ящик стоит стоймя. Розвальни мотают, как бумажку, привязанную к собачьему хвосту. Если встреча — расшибутся вдребезги обе упряжки. Но таков стиль езды.

Мне все время тогда приходили на память некрасовские строки о кибитке и об Алтае.

Вернулся в город. Никифоров потрепал по плечу ласково и староганно.

Но с биржей не ладилось. Пошел в газету с письмом того же Никифорова.

В газете отсиживались меньшевики и грызлись за место с большевиками. Газета была единственной, имеющей крупный тираж.

Редактор: Семешко — длинноусый с хмурым исподлобным взглядом, тогда только что вернувшийся из Америки.

Передовик: Киевский Г. В. — очень хороший парень, имевший слабость к сигарам, которые он обязательно заготавливал для писания передовиц.

Фельетонист: „Иона Вочревесущий“ — Н. К. Новицкий, тогда самостийный украинец, знавший наизусть Слово о полку Игореве и приветливо встретивший меня с моими стихами.

Редакция приняла меня дружелюбно, хотя не сразу. Сначала послали реферировать заседание Совета.

Когда я принес очень точный отчет, редактор посмотрел на меня поверх очков и буркнул: „Стенографировали?“

Я ответил отрицательно.

Тогда шансы мои повысились.

Однако ни инструктором биржи труда, ни рецензентом, хотя бы и областной газеты, мне оставаться не улыбалось.

Я попытался прочесть лекцию о футуризме.

Зал наполнился благодушной публикой, ничему не удивлявшейся, хлопавшей строчкам Хлебникова, Маяковского и Каменского.

Зато вышел какой-то оппонент и начал говорить, что я большевистский агитатор и читаю стихи, которыми осквернен Страстной монастырь.

Оказался сотрудником местной кадетской газеты.

Анатомия воспоминаний такова, что их нервные узлы различных функций связаны и переплетены в один лубок. Вот и теперь мне бы хотелось писать только о боях искусства, но тяжелыми шагами их пересекают бои за власть.

Когда случился во Владивостоке первый военный переворот, устроенный чехами, газета сменила название и стала полулегальным органом советской власти, зажатой в теснину интервенции.

Со мной — с беспартийным — в редакции освоились уже настолько, что я стал иметь вес и право голоса на редсобраниях.

Я вел стихотворный фельетон, был ночным корректором, а иногда и выпускающим газету.

В то время приехал во Владивосток под чужим именем Н. Ф. Чужак.

Он сделался фактическим руководителем газеты. И здесь в поздние часы ожидания верстки и правки газеты я начал ему читать Маяковского.

Сначала дело шло туго.

Мое чтение Маяковского беспокоило его так же, как громы-хание ломовика за окном.

Но постепенно слух его стал свыкаться с чересчур оглушающими интонациями строф Маяковского. Он начал различать в них отдельные фразы и предложения.

Меня уже сделали тогда зиц-редактором газеты. В обмен за это я имел право еженедельно составлять литературную страницу газеты.

Но и это повышение моей значимости меня не устраивало.

Мне хотелось иметь угол и аудиторию, где бы можно было работать по стихотворному делу.

Несколько раньше этого мне пришлось участвовать в худсовете рабочего клуба, где был постоянный театр.

Там я перезнакомился кой с какой молодежью, преданной искусству. В газете тоже бывали люди, и писавшие и понимавшие стихи.

Их-то я и хотел организовать в литературное общество.

II. Балаганчик.

Это было очень трудно. Вокруг меня были из живых: М. Скачков, тогда изучавший стихосложение и историю литературы, А. А. Богданов, В. Штемпель, О. Гомолицкая, художники Засыпкин, Михайлов, Гершаник, Вар; Констан де-Польнер — фанатик театра, сумасшедший режиссер, репетировавший сотни раз пьесы, которые никогда не выдвали постановки.

Из умерших: Вера Жданова, чудеснейшая 20-летняя трагическая актриса, погибшая в Шанхае в 1920 году.

Мы начали с того, что достали мрачный сырой подвал, провели сами в него электричество и купили на все наши деньги китайского ситцу с огромными розовыми маками по зеленому фону. Им мы обили стены нашего подвала.

Потом сделали подмостки. Наверху над подвалом был театр „Золотой Рог“. Оттуда мы таскали к себе вниз сломанные стулья и обветшалые декорации.

В это время приехал Третьяков.

Он был в полушубке и треухе. Но никакая одежда не могла изменить его ядовитой усмешки и худобы. Скептически осмотрел он наши начинания и решил, что надо издавать журнал „Бирюч“.

Два месяца, по семь, по восемь часов подряд, репетировали мы пьесу „Похищение сабинянок“.

Прямо со службы, не обедая, не досыпая, до 3-4 часов ночи гонял нас на корде сумасшедший режиссер Констан де-Польнер.

А после репетиции при тридцатиградусном морозе, в летнем распахнутом пальтишке, с закутанным шарфом горлом, он шел провожать нас на другой конец города, приплясывая и декламируя „Белый ужин“ Ростана.

На лунном свете его фигурка чернела, конвульсивно подпрыгивая в четких жестах пантомимы.

А затем он шел ночевать в ночлежку.

Помешан он был не только на театре. Помешан он был на идее самоограничения. Проверя себя в этом, разводил он всех по домам, подпрыгивая от холода. И спал на нарах среди безработных, бродяг и ворья — обитателей ночлежки, ценивших его и посвоему гордившихся своим странным сожителем. На нарах у него

стояли томики Артюра Рембо и Овидия рядом со щеткой и зубным порошком. Нары были идеально чисты — авторитет его стоял высоко, и обитатели ночлежки слушали под вечер его рассказы о золотом осле Апулея, не удивляясь и не утомляясь от его вдохновенных жестов.

Но Третьяков внес планомерность и дисциплину в наши довольно-таки сумбурные начинания, и Приморское литературно-художественное общество „Балаганчик“ открылось в подвале, украшенном розовыми маками.

Сюда перекечевал передовик Киевский со своей бесконечной сигарой, сюда сходили сверху артисты верхней сцены, заходили партийцы, профсоюзники, приходила и владивостокская недобитая буржуазия. Колчаковский ставленник ген. Розанов прочно сидел в губернаторском доме. Подвал стала заполнять разношерстная публика. Колчаковские офицеры и контр-разведчики не спрашивали разрешения при входе. Становилось скверно. Вечерние собрания замерли. Мы стали собираться днем. Приехали и присоединились к нам О. Петровская и В. Силлов. Открыли студию литературы, стали устраивать конкурсы стихов.

Для одного из них мною была написана „Тайга“.

Однажды на улице я увидел широченную спину, подельфиньи согнутую в дугу. Я оглянулся на колыхавшегося по тротуару человека. Так и есть — это Бурлюк.

Широченные жесткого сукна штаны, цветной жилет, одноглазка в недостающем глазу — и фигура фавна, столпа, отца русского туризма, встает в землю от неожиданной встречи.

Бурлюк жил с двумя детками и женой за сопками, в рабочей слободке. Жил он в парикмахерской, брошенной владельцем. Комнаты были заняты нарами, книгами и холстом для картин. Бурлюк жил берложной жизнью. Он ходил, устраивал выставки, издавал книги, шумел и громил мешан и пассаистов. Наскребши немного денег, он закупал краски, холст, бумагу, чай, сахар, пшено, муку и материю на рубашки детям, всего этого месяцев на 5, и засаживался за холсты.

Он писал маслом и акварелью, сепией и тушью, а жена его Мария Никифоровна сидела рядом, записывая диктуемые им рассказы и воспоминания.

Был он похож на дрессированного рабочего слона. Двери его квартиры никогда не запирались. Возвращавшиеся из доков рабочие часто заходили к нему смотреть его цветистые полотна и разговаривать о них — столь странных, ярких и непохожих на третьяковскую галерею.

Бурлюк — молниеносный оратор. Он именно тот уличный художник и поэт, от которого идут жизнерадостные излучения неожиданных афоризмов, всегда свежих, глубоко убедительных, лишенных всякого фарисейства, интеллигентщины, умничания.

Замечательный мастер, замечательный уличный мастер и искусник — Давид Бурлюк.

Но он, конечно, невозможен ни в каком скрупулезном литературно-художественном собрании. Все равно, что слон в стеклянной торговле. Он давит, толкает, крушит и разрушает все полочки с художественными восторгам. Он в пестрых штанах — сам себе плакат, с подмалеванной щекой, на эстраде, на улице, в толпе. Там ему по себе. Скажут: шарлатанство, оригинальничанье. Да, пестрое, цветное, блистательное шарлатанство, а не подхалимство, уживчивость, постничанье, пролезание бочком, скромность монашествующих во искусстве ради многолетнего признания привычки к бездарности, к мельканию у всех на глазах с сознанием собственного двухвершкового достоинства.

А ради чего все это шарлатанство?

Ради того, чтобы иметь возможность пять-шесть месяцев спокойно заниматься любимым делом. Ради того, чтобы накопить себе запас знаний, опыта, заготовок.

О, всесветные мешане, поймете ли вы когда-нибудь радость любимой работы.

Таков Додя Бурлюк.

Затем восстание Гайды.

Помню — мы забрались в наш подвал, заперлись и разбирали стихи, присланные на конкурс. В это время пришел кто-то из товарищей и сказал, что по городу ходят проскрипционные списки. Назывались фамилии, из которых мне была знакома одна: Кушнарева, председателя союза железнодорожников, коммуниста. Я поспешил к его жене, предупредить ее об опасности. Мужа ее не было дома: он был на телеграфе у прямого провода.

Мы помчались с ней на телеграф. Тов. Кушнарев уже знал о том, что его фамилия стоит на первом месте у белых, и принял меры, чтобы не быть захваченным врасплох.

Гайдовское восстание наверное описано уже много раз. Но так вот из „Балаганчика“ его никто не описывал.

Мы с женой вышли из подвала в час ночи. Улицы были совершенно пусты. Нам нужно было идти к вокзалу вниз. Помню удивились, не встретив ни одного человека. Только из-за одного угла вывернулся залихватский свист марша из „Кармен“. Свист наполнил до краев темноту запустелой улицы. Когда мы повернули на свист, в темноте обрисовалась фигура американского матроса, шагавшего к порту.

Матрос прошел, и улица вновь безлюдна.

Внезапно, без предупреждения, вспыхнули фары притаившегося автомобиля, и дробный стук пулемета залил пустую темноту. Мы прижались к стене, влипли в подъезд, онемевшие, без движения, без стука сердца. Автомобиль поливал пулями улицу, как из шланга поливают ее водой летом.

Так же внезапно и бессмысленно прекратив стрельбу, автомобиль повернул и уехал. Мы пустились бежать обратно.

В подвале, сбившись в кучу, переживали мы Гайдовское восстание. Перестрелка глухо гудела за стенами.

III. Группа „Творчество“.

Чужак, Третьяков, Бурлюк, Алымов, художник Пальмов, Силлов, Петровская — это уже была литературная группа, вокруг которой можно было организовать культурные силы Приморья. Пришла из Москвы книжка Маяковского „Все“, начали получаться центральные газеты. Власть в городе фактически была в руках японцев, за пределами города, в сопках — в руках партизан. Ощущение литературного полуподполья бодрило и поднимало силы. Николай Федорович Чужак отстаивал в Далькоме необходимость журнала. И наконец добился своего. Футуризм был признан и усвоен как литературное течение, борющееся на стороне пролетариата. Мы с Третьяковым с 1919 года вели в газете маленький политический фельетон под общим псевдонимом „Буль-Буль“. В нем, насколько было возможно, пощипывались интервенты, атаманы и всевозможные дальневосточные претенденты на всероссийскую власть.

Политические события местного, да и не только местного значения наворачивались снежным комом. 4—5 апреля 1920 года никогда не изгладятся из памяти. Японцы разоружили бывшие в городе красные войска народно-революционной армии, мотивируя это предполагаемым их содействием восстанию корейцев. Этим последним провели утром по городу с руками, завязанными сзади, в белых халатах на крейсер. Я не помню своих стихов, напечатанных тогда в день выступления в газете. Запомнились лишь четыре строчки:

„В воздухе крик пади и разбейся,
В газету влейся красной строкой:
— Куда уведят бледных корейцев
— С глазами, поющими вечный покой“.

На эту же тему в газете были стихи С. Третьякова, Кузьмы Жаха (С. Алымова) и Д. Бурлюка. Корейцам стихами мы, конечно, помогли мало, но помню сурово сдвинутые брови рабочего в трамвае, читавшего газету в тот день.

Журнал „Творчество“ стал культурным центром Дальнего Востока. Из Читы откликнулся Петр Незнамов, из Никольска-Уссурийска, из Верхнеудинска, из Николаевска на Амуре нам слали письма с поддержкой и приветом. Кой-когда приходили письма и стихи, написанные кривыми бледными буквами, огрызком карандаша, очевидно на камне или на обрубке пня — это были самые ценные, — из сопки от партизан.

Сочувствие к журналу и к нашей работе поднимало и крепило нервы. Мы в городе, кишашем интервентами и контрразведчиками, чувствовали себя такими же литературными партизанами, беспокоящими сознание, делающими вылазки против беляков на литературном фронте, ободряющими и перекликающимися со своими, отошедшими в сопки и затаившимися в них.

Направляемая коммунистами коалиционная власть в городе, окруженная штыками японцев, держалась не очень уверенно. Трусливая жестокость, мелкая мстительность, патологические издевки, характерные для японского штаба, проходили при молчаливом, смешанном с гадливостью, упорном молчании населения, под навешенными на город дулами орудий японского крейсера „Асахи“.

12 марта (свержение самодержавия) была демонстрация у вокзала. Там на площади беляки на месте мемориальной доски с именами павших революционеров поставили в трусливой злобе и мстительной истерике... отхожее место.

Демонстрация проходила чинно, вея знаменами.

Председатель смешанного правительства — земской управы и выборных представителей — председательствовал на митинге. Это был, кажется, эсер Медведев.

В речах прорывались боль и гнев на интервентов; но боль, приглушенная близостью их вооруженной силы, гнев, сдержанный близостью шнырявших в толпе японских контрразведчиков.

Во время митинга я попросил слова для чтения стихов. Медведев не очень охотно разрешил мне читать. Он был против всякого „возбуждения“. И согласившись на стихи, он оттягивал мою очередь, давая место бесконечным кооперативно-эсеровским излияниям. Я стоял у подножия трибуны и после каждого оратора дергал председателя за рукав, требуя себе слова. Рядом со мной стоял молодой человек, чрезвычайно красивый, рослый и осанистый, с любопытством и удивлением наблюдавший за мной. Видя безуспешность моих попыток, он наклонился ко мне и спросил вполголоса:

— В чем дело, товарищ? Что вы хотите говорить?

Я ответил, что хочу „говорить“ стихи о партизанах и назвал себя. Тогда он мягко, но властно продел свою руку мне под локоть и, проговорив: „тогда идите сюда“, повлек меня за собой. Я, как-то сразу почувствовав к нему доверие и симпатию, пошел не сопротивляясь.

За вокзальной площадью была другая, так сказать неофициальная площадка портового поселка Эгершельда. Человек шел туда. Когда мы приблизились к ней — там шел митинг союза грузчиков. Крепкие скулы, широченные плечи, цепь своей охраны — грузчики пользовались заслуженным уважением, по крепости своего темперамента, даже у белых контрразведчиков.

Человек, приведший меня, быстро прошел за цепь, быстро перемолвился с председателем и, подвинув меня за плечи к ящичной трибуне, сказал:

— Читайте здесь.

Грузчики слушали стихи как надо. Ни кашля, ни шопота за пятнадцать минут читки. Сплошные пятитысячные глаза, как трамплин, поддерживали правильность интонации. И по окончании дружный говор и хлопки были необычным одобрением собравшихся послушать „поэзию“. Здесь я впервые и навсегда был прикован накрепко к человеческому коллективу. Здесь впервые и навсегда я



почувствовал серьезность и необходимость поддержки настоящей человеческой аудитории, пришедшей не развлекаться и отдыхать, а плавиться и накаляться в общем подъеме подлинного пафоса, действительного массового героизма.

Когда я, счастливый и возбужденный, слез с ящика, на него взошел приведший меня сюда молодой товарищ. Он заговорил сильным, звучным голосом, отдававшимся далеко во всех ушах площади, и в глазах, устремленных к небу, я заметил восторг и непреодолимое волнение. Он говорил коротко и сильно. Это была не речь, а скорее ряд лозунгов, сжатых в общепонимаемый шифр, взбадривающих и освежающих, увлекательных и неожиданных в этом городе, задуманном тяжестью интервенции.

Когда он кончил, на его голове оказался шлем с пятиконечной звездой. Его быстро окружили подготовленные, очевидно, ряды грузчиков, и он исчез за ними.

— Кто это был? — спросил я у близстоящих.

— Как кто? — ответили мне. — Да он же вас привел, разве вы не с ним были? Это Лазо, красный командарм.

Лазо в городе, полном белых ищеек. Помню, вместе с радостью в груди у меня тревожно колыхнулось сердце. Так вот каков Лазо, двадцатилетний командарм, тонкий, ловкий и легкий, как девушка, внимательный и наблюдательный, громкий оратор и смелый боец, навсегда врубивший в сердца пяти тысяч грузчиков и мое свой быстрый, свежий молниенный облик.

Тревога моя оказалась не напрасной. Не одни только дружеские глаза следили за Лазо. Спустя мало времени он был схвачен белой контрразведкой при содействии японцев.

Его трагическая участь немало способствовала сплочению той ненависти к интервенции, силой которой были сброшены впоследствии один за другим все временные властители и ставленники чужеземных империалистов.

Группа „Творчество“ росла и крепла. Мы уже перекинулись с Москвой. Получили весточку от Брика и Маяковского. Это была как первая апокрифическая пальмовая ветвь с суши.

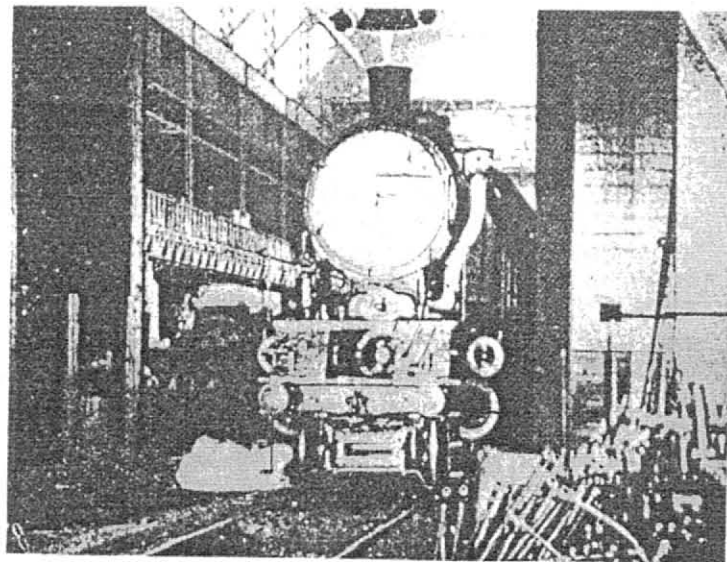
Москва сияла вдали могучим, сверкающим маяком.

На окраине — последние судороги белых полуэмигрантов. Японцы свертывались и уходили, отчаявшись в попытке водворить на власть кого-нибудь из сговорчивых фаворитов. В самой Японии шла кампания за прекращение дорого стоящей интервенции. Военная клика в японском правительстве теряла свой престиж.

Во Владивосток приехал И. С. Гроссман-Рощин. Он был у нас в „Балаганчике“, уже сыгравшем свою роль и постаревшем. Я говорил ему, как мне хочется в Москву. Дальний Восток уже сыграл свою роль в Октябре. Его омертвевшая в тисках белогвардейщины лапа начала расправляться. Биение крови, идущей от сердца — Москвы, начало доходить и до него. И вот с удостоверением дикпурьера, выданным мне представителем РСФСР Романом Цейтлиным, тоже погибшим в последних схватках с отступающим врагом



Кадры из фильма „Великий путь“ (10 лет), работа Э. Шуб, производство Совкино.



8-9

2



Казармы 56 полка—из фильма „Москва в Октябре“—Режиссёр В. Барнет, оформление А.Родченко, Производство Межрабпом-Русь.

(застрелен белогвардейцем), выехал на запад, в буфер, в Читгу, чтобы оттуда „на перекладных“, при содействии Гроссмана-Рощина и А. В. Луначарского двинуться навстречу тогда будущему, а ныне печатающему эти строки Лефу.

Мы — футуристы.

О. М. Брик.

Злобные к Лефу люди любят говорить:

— Что такое Леф? — футуристы; что такое футуристы? — Маринетти; что такое Маринетти? — итальянский фашист; — следовательно... Вывод ясен.

Все это чистейший вздор, так как русские футуристы возникли задолго до того, как Маринетти стал известен в России.

А когда в январе 1914 г. Маринетти приехал в Россию, русские футуристы встретили его весьма враждебно.

Вот заметка в журнале „Искра“, № 5 от 2 февраля 1914 г.

„Король футуристов, итальянец Маринетти, прибыл в Москву и прочел две лекции о футуризме и его будущем и имел большой успех, но... только не у своих единомышленников. Наоборот, московские футуристы встретили Маринетти враждебно и отказались от всякого общения с ним. Они не согласны с его взглядами относительно будущего футуризма“.

В. Хлебников выпустил к приезду Маринетти в Петербурге специальную листовку:

„Сегодня иные туземцы и итальянский поселок на Неве из личных соображений припадают к ногам Маринетти, предавая первый шаг русского искусства по пути свободы и чести; и склоняют благодородную выю Азии под ярмо Европы.

Люди, не желающие хомута на шее, будут, как и в позорные дни Верхарна и Макса Линдера, спокойными созерцателями темного подвига.

Люди воли остались в стороне. Они помнят закон гостеприимства, но лук их натянут, а чело гневается.

Чужеземец, помни страну, куда ты пришел.

Кружева холопства на бараках гостеприимства.“

Русские футуристы шли своей дорогой и не приняли Маринетти.

Но отдельными лозунгами итальянского футуриста они воспользовались и остались им верны до сего дня.

Вот некоторые из них:

„Мы хотим воспевать любовь к опасности, привычку к энергии и к отваге“.

„Главными элементами нашей поэзии будут: храбрость, дерзость и бунт“.

„До сих пор литература воспевала задумчивую неподвижность, экстаз и сон; мы же хотим восхвалить наступательное движение, лихорадочную бессонницу, гимнастический шаг, опасный прыжок, оплеуху и удар кулака“.

„Мы объявляем, что великолепие мира обогатилось новой красотой: красотой быстроты. Гонимый автомобиль со своим кузовом, украшенный громадными трубами со взрывчатым дыханием, рычащий автомобиль, кажущийся бегущим по картечи, прекрасней статуи Самофракийской победы“.

„Не существует красоты вне борьбы. Нет шедевров без агрессивности. Поэзия должна быть жестокой атакой против неизвестных сил, чтобы требовать от них преклонения перед человеком“.

„Мы на крайнем мысе веков... К чему оглядываться, если нам нужно разбить таинственные двери невозможного“.

„Восхищаться старой картиной — это означает: изливать нашу чувствительность в погребальную урну, вместо того чтобы швырнуть ее вперед сильным движением активного созидания. Неужели вы хотите выпачкать таким образом ваши лучшие силы в бесполезном восхищении прошлым, откуда вы неизбежно выходите изуродованной, уменьшенной, затоптанной?“

Для умирающих инвалидов и узников еще куда ни шло. Может быть, это чудное прошлое — бальзам для их ран, раз настоящее им воспрещено. Но мы его не хотим, мы, молодые, сильные, живые футуристы!“

Октябрьская революция была понята футуристами, как мощный призыв к раскрепощению прошлого и к борьбе за будущее.

Они рьяно принялись за дело в органах советской власти.

7 декабря 1918 г. при Отделе изобразительных искусств Наркомпроса вышел первый номер еженедельной газеты „Искусство коммуны“, органа футуристов.

Здесь были впервые напечатаны стихи Маяковского: „Приказ по армии искусств“, „Радоваться рано“, „Поэт-рабочий“, „Левый марш“ и др.

Но с первых же номеров футуристы нарвались на охранительные тенденции Наркомпроса.

Поводом к скандалу послужили строчки Маяковского:

„Время

пулям

по стенкам музеев тенькать.

Стодуюмовками глоток старье расстреливать“.

Была подана жалоба А. В. Луначарскому и нарком счел нужным разъяснить положение статьей в № 4 „Искусства коммуны“.

Вот эта статья:

„Ложка противоядия“.

„Некоторые ближайшие мои сотрудники немало смущены первыми номерами газеты „Искусство коммуны“. На этой почве, — что греха таить, — возник даже легонький конфликт между коллегией Комиссариата просвещения Севернй области и Отделом изобразительных искусств при том же комиссариате.

Признаюсь, и я смущен.

Мне говорят — политика комиссариата в деле искусства строго определена. Не напрасно — говорят мне, — потрачено столько геройских усилий на охранение всякой художественной старины; не напрасно мы шли даже на нарекания, будто мы оберегаем „барское добро“, — и мы не можем позволить, чтобы официальный орган нашего же комиссариата изображал все художественное достояние от Адама до Маяковского грудой хлама, подлежащей разрушению.

Есть и другая сторона дела. Десятки раз я заявлял, что Комиссариат просвещения должен быть беспристрастен в своем отношении к отдельным направлениям художественной жизни. Что касается вопросов формы — вкус народного комиссара и всех представителей власти не должен идти в расчет. Предоставить вольное развитие всем художественным лицам и группам. Не позволить одному направлению затирать другое, воссужившись либо приобретенной традиционной славой, либо модным успехом.

Слишком часто в истории человечества видели мы, как суетливая мода выдвигала новенькое, стремившееся как можно скорее превратить старое в руину, и как после этого плакало следующее поколение над развалинами красоты, пренебрежительно проходя мимо недавних царьков быстролетного успеха. Слишком часто также видели мы и обратное, когда какой-нибудь художественный Кащей бессмертный заедал чужие жизни и, заслонив солнце от молодого растения, обрекал его на гибель, калеча тем ход человеческого духа.

Не беда, если рабоче-крестьянская власть оказала значительную поддержку художникам-новаторам: их, действительно, жестоко отвергали старшие. Не говоря уже о том, что футуристы первые пришли на помощь революции, оказались среди всех интеллигентов наиболее ей родственными и к ней отзывчивыми, — они и на деле проявили себя во многом хорошими организаторами, и я жду самых лучших результатов от организованных по широкому плану свободных художественных мастерских и многочисленных районных и провинциальных школ.

Но было бы бедой, если бы художники-новаторы окончательно вообразили бы себя государственной художественной школой, деятелями официального, хотя бы и революционного, но сверху диктуемого искусства.

Итак, две черты несколько пугают в молодом лице той газеты, на столбцах которой печатается это мое письмо: разрушительные наклонности по отношению к прошлому и стремление, говоря от лица определенной школы, говорить в то же время от лица власти.

Я хотел бы, однако, чтобы встревоженные газетой лица не придавали всему этому чрезмерного значения. Не напрасно воинственный футурист Пуни на задворках того журнала, портал которого украшен иступленными скульптурами Маяковского, изо всех сил потеет над тем, чтобы спасти традиции мастерской иконописи, тревожится по поводу запрещения местной власти вывоза икон из Мстера.

Я могу уверить всех и каждого, что действительно талантливые среди новаторов великолепно чувствуют и даже сознают, как много чудесного и очаровательного заключается в старине, и, как Аугуры, улыбаются друг другу и подмигивают, когда заносчиво поносят все старое, отлично зная, что это только молодая поза, и к сожалению, воображая, что она им к лицу“.

Тов. Луначарский был совершенно прав. Действительно, футуристы всерьез взялись за разрушение прошлого и пытались для этого использовать свое служебное положение. Но у них ничего не вышло. Охранники „барского добра“ оказались сильнее и вышибли футуристов из всех комиссариатов.

Но от задачи своей футуристы не отказались и завещали ее Лефу.

Прав был Анатолий Васильевич, что были среди футуристов такие, которые хлопотали о мстерской иконописи и сознавали чудесность и очаровательность прошлого. Но эти очень быстро отошли от футуризма и в Леф не попали. Они перешли в категорию „умирающих, инвалидов и узников“, для которых „это чудесное прошлое — бальзам для ран, раз настоящее им запрещено“.

Футуристы завещали Лефу глубочайшее почтение к прошлому как к прошлому и непримиримую ненависть к этому же прошлому, когда оно пытается стать настоящим; и никакие бочки противоядия не могут излечить нас от этой футуристической горячки.

По поводу картины Эсфирь Шуб. В. Шкловский

О голодных годах, о годах военного коммунизма все говорят сентиментально или оживляясь.

Это относится и к тем, кто в это время революции и не делал, по крайней мере сознательно.

Дома стояли в полуочищенной, полуотставшей чешуе инея.

Улицы заросли сугробами и были мягкими и среди них вились тропы.

На Петербургской стороне снялись с якоря и ушли в печи деревянные дома, оставив на месте причалы — кирпичные трубы.

Вещи изменили вкус, вид и назначение: достав глицеро-фосфат, пили с ним чай, — потому что это казалось сладким.

Все это жалкие слова.

Под Херсоном в Днепровском отряде я поступил по профсоюзной мобилизации в батальон Чека; он состоял из солдат, побывавших в Ленинграде.

В Питере им пришлось топить печи нарами, а вспоминали город они так — „голодно, но интересно“.

В нашу литературу и кино „интерес“ голодных лет не попал.

Вспомните пустой город с бесплатно не идущим трамваем; Неву, пустую и чистую, или снега города в желтых пятнах.

А между тем русское искусство живет запасами изобретений того времени.

Отец и внук молодых, Мейерхольд, тогда делал свои первые постановки.

В Питере в Народном доме шла цирковая комедия, в Эрмитаже в 1920 году Юрий Анненков ставил то, что сейчас называется „Ревизором“ — „Первого Винокура“ Льва Толстого, разрушая традиционный текст.

Это было время эксцентризма. Появились Фэксы с водевилем „Женитьба“, и публика играла в зале мячом, ожидая начала представления.

А Максим Горький тогда не писал „Дело Артамоновых“, но писал книгу о Толстом и нигде не обнаруженную комедию для цирка „Работяга Словотеков“.

Эйзенштейн работал на фронте, потом с Форреггером, работал тоже на эксцентрическом материале.

„Опояз“ собирался на кухне оставленной квартиры Брика. Топили плитку книгами и совали ноги в духовой шкаф.

В „Доме искусств“ в комнате Михаила Слонимского, в которой из вентилятора почему-то текла вода, заводились веселые Серапионы. Они тогда еще выдумывали вещи, но не писали полного собрания своих сочинений.

На стенах города, прибитая деревянными гвоздями, висела „Жизнь искусства“ со статьями формалистов и объявления какой-то Аранович о школе ритма для красноармейцев.

Мы все обязаны признаться, что много должны этому холодному, горькому, растрепанному, как костер, на двадцатиградусном ветреном морозе, времени. И всегда его любим.

Дело в том, что тогда авансом был осуществлен социализм.

Воздух свободы, а не необходимости, пародоксальнейшее предчувствие будущего, заменял в Питере жиры, дрова и вообще атмосферу.

Социализм не представим. В нем угрожают нам нивелированной скукой.

Но мы знаем его.

Знаем книги без гонорара и работу без принуждения.

Я думаю, что со мной вместе вспомнят так многие.

Чувство невесомости, возможность двигаться, отсутствие судьбы — и от этого творческая работоспособность.

Мы летели на железном ядре из прошлого в будущее — и тяготения не существовало, как в ядре Жюль Верна.

Время поэтому было гениально. Этот гениальный порыв в будущее дарил свое изобретение всем! всем! как будто бы ускорилось само вращение земли.

Потом появилась невозможность.

Лента Эсфирь Шуб об Октябре — хорошая лента.

Она неисправима, потому что подлинна.

Владимир Ильич Ленин на экране — веселый, заинтересованный механик.

Другие люди, как Дыбенко, еще чувствуют себя перед аппаратом, еще не вьнсторичились.

Гражданская война, которая никогда не выходит на экране, потому что она особенная, верна.

Пустые улицы Москвы.

Изумительный плач над гробами 26 комиссаров какой-то армянки.

Вещи восстанавливаются и освежаются.

Крестный ход во Владивостоке навстречу японцам, которые, конечно, не христиане.

Олицетворенная в лице какого-то юнкера — глупость, играющая на фанfare.

Восстановленная буржуазия. Оказывается, она вот такой и была, как на плакатах.

Куски даны правильно документально, без чудес монтажа. Есть настоящее талантиливое отношение к действительности — конструктор не противопоставляет себя ей.

Может быть, слишком затянута „электрическая ночь“. Ведь это если не „игровой“, то иронический кусок. Гневный.

Это электрический ток, убивший Ванцетти.

Его надо укоротить за надписью, не давая самодовлеющим атракционом.

Но как мало и как скучно снимали!

Сейчас же снимают еще меньше.

Веселость времени не снята.

Не снят Питер в первом послеоктябрьском мае. Нет ни одного украшенного города. Ни одной стенной афиши, ни одного зрелища.

Почти нет быта.

Нет почти совсем улиц.

В Москве нет ни одного дома с трубами. Не снят перелом на нэп.

Получается непонятно.

Грозное, горькое, стреляющее время и веселый подлинный Ленин.

В сегодняшние дни еще хуже.

Нет Днепрострой. Нет порогов. (Я просил, чтобы мне дали хотя бы только оператора и пленку без денег, так как все равно ехали, и хотел снять работу для Шуб, но отказались.) Нет мелноративных работ, между тем в одной Воронежской губернии площадь новых прудов равна половине площади озера Ильмень.

Революция не снята веселой, строительство не снято совсем.

Зато на картину отпустили только 15 000.

Есть уже шаблон, как и что снимать.

Шуб умоляла не снимать больше спорта, ведь спортивное движение не стандартизировано.

Снимать каждый день индивидуальные прыжки это то же, что снимать каждый день французские булки.

Прекрасному работнику не из чего работать.

Время уходит у нас сквозь пальцы.

Штык строк.

С. Третьяков

31 января 1920 года. День, когда партизаны в козьих тулупах и папахах, перечеркнутых красной лентой, вошли во Владивосток, ставя точку колчаковщине.

Где-то у Русского Острова на мели бултыхается пароход „Орел“ с удирающими генералами.

Корректор газеты, „Далекая окраина“ по фамилии Вышняк, а по псевдониму „Диллетант“ выходит из подполья и оказывается Насимовичем-Чужаком.

Спешно ладим с ним выпуск журнала „Бирюч“, где преобладают футуристические материалы. „Бирючу“ суждено просуществовать только один номер, его расхватывают на демонстрации в честь свержения колчаковщины, но через несколько недель выйдет первый номер журнала „Творчество“, занимающего в истории Лефа равноправное место рядом с „Искусством Коммуны“ и московским журналом „Леф“.

31 января владивостокский обыватель прячется за спущенными гардинами, опасливо поглядывая в щель на проходящие по главной, Светланской, улице партизанские шеренги.

В этот вечер в полупустом Литературно-художественном обществе импровизирую на мотив „Гусар-усачей“.

„Буржуйское сердце в тревоге
Забилось, как старый фазан,
Когда по притихшей дороге
Зашагали полки партизан“.

и дальше:

„Как странно — никто не расстрелян,
Как странно — дома не в огне“.

Я не стал бы вспоминать этих обрывков, если бы не рассказали мне владивостокцы, что двумя годами с половиной позднее, когда новые партизаны пришли снова освобождать Владивосток от наросших на нем за 21-й и 22-й годы черносотенных правителей, они пели эти самые строфы, ставшие, видимо, походной песнью.

Начинаю работать в редактируемой Чужаком коммунистической газете „Красное знамя“ — первые опыты очерка и фельетона.

Весело работается в эти расплавленные дни.

Военно-революционный совет под председательством талантливого большевика Лазо прибирает к рукам богатейшее военное имущество Владивостока и превращает в крепкие дисциплинированные войсковые части замученную и озлобленную таежными скитаниями партизань.

Интервенты эвакуируются одни за другими — чехи, французы, англичане, наконец, американцы.

Но японский броненосец „Хизен“ (б. русский „Ретвизан“) стоит на рейде в бухте „Золотой Рог“, а на плоских профилях владивостокских укреплений копошатся коротенькие желтые фигуры в огромных собачьих воротниках.

Близится день выборов в совет рабочих депутатов, и вырастают на улицах и на перекрестках брустверы из мешков с песком и проволочные заграждения. Носы японских пулеметов возникают в самых неожиданных закоулках.

Громом перекидывается по радио во Владивосток предостерегающая весть из Николаевска на Амуре: в Николаевске, взятом партизанами, накануне съезда трудящихся японцы выступили ночью вместе с белогвардейцами и чуть не ликвидировали партизан. Но те оправились, а ныне японцы загнаны в казармы и, не желая сдаваться, умирают: кто попроще — под пулями осаждающих, кто почетнее — почетным самоубийством харакири.

Вечером 4 апреля на Тигровой Горе, тянувшейся гребнем фортов над линией портового причала, собрались у кого-то (не помню) мы, футуристы, — Асеев, Бурлюк, Пальмов, Алымов, я. Говорили торжественные, приподнятые тосты, адресованные московским футуристам, связи с которыми еще не было, ибо в Чите сидела контрреволюционная пробка атамана Семенова и японцев.

Говорили мы о том, что ориентируемся на Москву и хотя делаем это наощупь, но, несомненно, правильно.

Назад шли вечером, спускаясь в город. Улицы были безлюдны. Отряды японцев спешно занимали перекрестки. Почувяв неладное, мы прибавили шаг. За спиной закричал пулемет. Сбоку другой. Ружейные выстрелы с Тигровой Горы перекликнулись с далеким Гнилым Углом, а с броненосца „Хизен“ плеснули тревожным белым светом прожектора.

Это началось знаменитое японское наступление 4—5 апреля. Японцы оккупировали город, часть красных войск разоружили, часть вытеснили снова в сопки и арестовали военный совет — Лазо, Луцкого, Сибирцева.

Корейские революционные организации были разгромлены, и корейцев пытали на глазах у всех, ставя босыми ногами на железные прутья вокзальной решетки.

Все японское население Владивостока вышло на улицу торжествовать победу. Прачечники, парикмахеры, часовщики и тысячи японских проституток шли сплошной воблой по улице, дома которой были утыканы японскими флагами цвета яичницы — белое с красным диском, и несли в руках такие же маленькие флажки.

Притиснутые к стене этой толпой, мы тряслись от гнева, беспомощности и мести. Многих твердолобых советоненавистников в этот день японцы научили верности своей стране. Три дня Владивосток был без власти, и не нашлось ни одной самой оголтелой группы политических проходимцев, которая бы подхватила бросовый город в свои руки.

Самим японцам, для своих же удобств, пришлось разыскивать остатки разгромленного ими же правительства, т. е. тех же самых большевиков (ибо в этот период большевики были гегемонами владивостокской коалиции) и заключать с ним соглашение о дальнейшем управлении краем.

В одном из железнодорожных домиков, позади расстрелянного японцами земства, собрались в этот день мы четверо — Бурлюк, Алымов, Асеев и я — и не вышли из комнаты, пока не записали 4 стихотворения об этом дне. И тем же вечером асеевский и мой стихи пошли в наборную газеты „Дальневосточное обозрение“, выходящей по инерции, не уверенной не только в завтрашнем дне, но даже и в следующем часе.

Цитирую из своего.

„Смотрю веселые лица чужих.
Россия — до дна мне одна родна ты!
Я спокоен. Я видел зрачков ножи
И ощупал сердец разрывные гранаты.
Я читал в забровленном улиц шелесте,
Как тяжело весна умеет кровавиться,
И что есть названья, зажатые в челюсти,
Пред которыми — ландыш — слово „мерзавец“.
Обезоруженные не опорочены —
В полях позванивает сталь мотыг.
Пришедшие сюда!
Я спокоен,
Когда молчание звончей пощечины,
А взгляд — штык.
Да!“

Партизаны Уссурийского края ответили на выступление тем, что в два дня исчезла дорога Никольск-Уссурийск — Хабаровск. Чуть ли не триста верст рельс было снято со шпал и зарыто в землю. Чтобы спасти Приморье от войны и прямого оккупационного разгрома, большевики двинули по линии специальную комиссию, которая должна была успокоить вздыбившееся население. Эта мучительная работа была поручена Уткину, веселому косматому Уткину, недавно вернувшемуся из эмиграции в Австралии. А через несколько недель тело Уткина прибыло во Владивосток — он вместе с журналистом Граженским был застрелен в вагоне белогвардейцем Корневым.

Лазо, Луцкий и Сибирцев не вернулись из японского плена.

На вопросы японцы отвечали: „Ницево неицвечно“, — делали лицемерное предположение о том, что Лазо ушел в сопки. Только через год в Тяньцзине мне был передан подслушанный в ресторане рассказ одного из белогвардейских офицеров, который принимал участие в уничтожении Луцкого, Лазо и Сибирцева.

Оказывается, они были выданы белогвардейскому отряду, со-

стоящему на иждивении японского штаба, в мешках перевезены на подгородную железнодорожную станцию и там живьем засунуты в топку паровоза.

Передавалось, что Лазо сопротивлялся, пытался вырваться, но, ударившись головой о начельник топки, потерял сознание.

Об этом я сообщил в Читу Чужаку и, насколько мне помнится, он это известие опубликовал то ли в „Дальневосточном телеграфе“, то ли в журнале „Творчество“.

Генерал Оой, японский главнокомандующий, был вдохновителем всей той пытки, от которой страдал Дальний Восток в угоду интервенции.

Последняя его мерзость была совершена накануне объединения всех дальневосточных разорванных областей под единой гегемонией большевистской Читы, заграничной буферной обозначением Дальневосточной республики.

Когда поздней осенью 20-го года шли прения во владивостокском Народном собрании, воссоединиться или не воссоединиться, и коммунистическое большинство доламывало колеблющуюся середку меньшевиков и эсеров, Оой вызвал к себе правительство и представителей фракций.

В приемной диван полукругом охватывали стулья, перед диваном столик с единственной чашкой чая.

Через двадцать минут ожидания вошел генерал, сел на диван и сделал предостережение, грозя переворотом, в случае, если Дальневосточная республика будет организована.

Республика была создана, правда, ненадолго. Генерал Оой ушел, уступив свое место генералу Тачибана, и в середине 21-го г. на владивостокский престол сел Меркулов распродавать по дешевке тем же японцам военные и портовые запасы многострадального города.

Вспоминаю об этих, казалось бы посторонних, фактах потому, что вся трехлетняя газетная работа на Дальнем Востоке была под знаком яростного сопротивления оккупантскому нажиму и издевательствам белогвардейщины, жившей под крылышком японского штаба.

Через несколько дней после апрельского разоружения, в атмосфере наступившего полуподполья, пишу в „Красном знамени“ фельетон под названием „Танка“.

Танка — это национальная японская поэтическая форма. Пятистрочие по пять и по семь слогов.

Танки были следующие, — первая называлась „Оку па дзия“ (оккупация).

„Ходзя ина вон.
Ори, Оривы кину.
Ато похаре.
Дзао корокуку сим
Поту рим ипо гоним“.

Хозяина вон
Ори ори выкину
А то по харе
За окорок укусим
„— Потурим и погоним“.

Другая танка была посвящена штабной японской газете (на русском языке) „Владиво-Ниппо“, которая травила владивостокских коммунистов и председателя земской управы Медведева.

„Владиво Ниппо!
Мо тай, мо тай идзи ком!
Натебе иену!
Уморико мунис та!
Побо риме дведе ва!“

„Владиво Ниппо.
Мотай, мотай языком!
На тебе иену!
Умори коммуниста!
Побори Медведева!“

В третьей танке говорилось о стремительно падающем сибирском (Колчаковском) рубле, которым торговали валютчики в кафе Кокина (черная биржа Владивостока).

„Кати! Кати! Но!!
Руб уко кината ет
Яма вы рита.
Христ тарали похо ди!
Кайся, кайся, иди от.“

„Кати! Кати! Но!!
Рубль у Кокина тает.
Яма вырыта.
Христа ради походи!
Кайся, кайся, идиот.“

50 % „слов“ этих танок были настоящие японские, взятые из словаря. Звуковая сторона была выдержана (японский язык не знает звука „л“). Японцы читали и говорили: „Звучание наше, а смысла не пойдем“.

Прошло несколько дней, пока им расшифровали эти танки белогвардейские друзья.

Майская демонстрация этого года, ответ на оккупантскую демонстрацию апреля.

Литературно-художественным обществом объявлен конкурс на первомайские гимны. Выигрывают мой и асеевский. Композитор Виноградов напяливает на мой „Май“ музыку, и 1 мая играют оркестры:

„Трубы заводов, гряньте
Маршем на нашем пути,
С солнцем на красном банте
Молодо нам итти“.

Асеев пишет маленькие фельетоны под псевдонимом „Буль-Буль“. Мой псевдоним — „Жень-Шень“.

Иногда мы бульбулим вместе, по строфе на брата.

Запомнились кусочки асеевского фельетона, посвященного следующему случаю. Некий типограф с улицы Петра Великого выклянчил у владивостокского минфина 30 тысяч иен, якобы на издание учебников.

Ясное дело, что дотация эта пошла на что угодно, только не на учебники. Эпиграфом к фельетону было:

„Человек и зверь и пташка
Все берутся за дела.
С иеной тащится букашка,
Где она ее взяла?“

А вот самый фельетон:

„Не тонко скрипочка пиликала,
На улице Петра Великого.
Там жили добрые волшебники,
Всю жизнь печатали учебники.
Для самых маленьких малюточек
Готова сказочка про то,
Как выцарапав на валюту чек,
Его умчат с собой в авто.
На возраст средний эти строки ну,
Неужели не хороши:
„Ходите утром, дети, к Кокину,
Сие полезно для души“.
А возраст старший с географией
Пусть ознакомится пока,
Как труден путь от типографии
До банковского сундука.
Когда ж проделки обнаружатся
На ены ляжет он, как пласт,
И крик отчаяния и ужаса
Тридцатой тысячью издаст.

Только осенью проскочила во Владивосток книга „Все написанное Маяковским“, и бережно, с радостным интересом собираемся мы и пролетарские поэты Владивостока читать „Мистерию Буфф“ и стихотворные передовицы и „Левый Марш“.

Владивосток становится частью Дальневосточной республики. Идет спешная мобилизация белогвардейцев, чтобы оторвать его от контакта с РСФСР.

Выдавленные из Сибири остатки колчаковщины пробираются к Владивостоку осесть в его демократическом раю.

Снова партизану на таежной заимке надо прочищать винтовку и запастись продукты.

Хабаровские биржевики написали уходящему генералу Оой:

„Ваше имя известно в отдаленных уголках края и пользуется симпатией и популярностью. В любой глухой деревне крестьяне с радостью вспоминают генерала Оой“.

Ответил фельетоном.

„Когда у биржевого зайца
Собачий вырастает хвост,
То мир хрещеный удивляется

И изгаляется прохвост!
Когда уходит генерал,
То каплют слезы обирал.
Сия разлука — острый нож
Патриотическим говядам.
Ну как тут, братья, не вильнешь
Еще невыпоротым задом?

Слушай вой,
Генерал Оой!

Два года, два года, два года
(Не хмурь генеральские брови)
Твоего, генерале, похода
И нашей разбрызганной крови.
Среди избяных тесин
По тайге ли пургою зимнею,
Кто, найди-ка, не произносил
Твоего поминутно имени?
Популярность твоя идеал
Среди нашего быта свинского,
Поминают тебя, генерал,
Чаще имени материнского.

- Стой!
- Кто такой?
- Шапку долой!
- Гимн пой!
- Сквозь строй!
- Нагайками крой!
- Яму рой!..

Все кончается на „ой“.

Со святыми упокой.
Не в первой...
Мерзавцев долой!
Тропкой лесной
Шалаши строй!
Винтовка со мной.
Земли родной
Не замай чужой!..

Тоже кончается на „ой“.

Генерал Оой!
Генерал Оой!
Твое имя врезали шомполом
Точнее заправских граверов.
Это имя выхрипывал по полу
Неподатливый бабий норюв.
Этим именем наши дети
Аукались пулям в апреле.

И не имя ль твое сквозь плети?
Не тебя ли зовут в расстреле?
Вспоминаю.

Зажали.

Не вырваться.

Улиц вылакан рваный позор,
А где-то удушен Сибирцев,
А где-то сожжен Лазо.
Но еще не кончены шутки
Генеральской твоей стопы —
И тихий и белый Уткин
Плывет на руках толпы.
Вспоминаю: к себе в палаты
Ты велел явиться кивком, —
И вот глаза депутатов
Под твоим сыреют плевком.
Лесть очей да не вьест.
Ложь холодна, что рыба.
Ой-генерал, за выезд —
Тебе большое спасибо.

.....

На станции Раздольная в японском штабе ютится кучка белых
молодцов, совершающих налеты и убийства безнаказанно.
В Приморьи глава оккупантов уже генерал Тачибана.
„Тачибандиты“ — озаглавливаю фельетон на эту тему:

Японские малые детки,
Прочтите заметки
О том, как ваши
Большие
Папаши
Живут в России,
Дружат с ними русские дяди
Со странными замашками,
Им платят папаши, не глядя,
Японскими бумажками.
Дяди бумажки прячут,
А русские дети плачут.

Неправда ли, очень потешно
И пахнет детской сказкой —
Смотреть, как тобою повешенный
Висит и ногами ляскает?
Приходило ль вам, детки, в голову,
В порядке хотя б мечтаний,
Как приятно жидкое олово
Прожигает шипя гортани?
А еще необычно приятно
Полоснуть по шее книжкой —
Крика нет, только глеют пятна
На лице задрожалом.
А еще забавно и очень
(Если ты не совсем калека),

Из-под черной накидки ночи
Револьвер разрядить в человека.
А когда делишки обделаны,
Полить в пересмешку чай,
И услышать звенящее иенами
„Получай“.
А затем карандаш намусля,
Писать обреченных список,
А радость играла б на гусях,
Чтоб юный задор не высох:
А затем японский приятель
Указал бы, с кого начать,
Улыбнулся совсем обаятельно
И притиснул свою печать.

Жисть раздольная
Не в меру хороша,
Подневольная
Старается душа.
Эх, молодчику
Висеть бы на дубу,
Ах —
Он переводчиком
В японском во штабу.

„Чего нам стесняться,
Если плачут.
Чего нам бояться,
Если прячут.
Значит, ребра не колочены,
А поганы позолочены,
А посуточно уплочено —
Значит,
Захочу — и быть помоему
Захочу — не трону.
Я вверну себе обойму
С восемью патронами.
Слово — „хам“ на лбу не липнет;
Не клеймо, не горячо;
А зато нагайка хлипнет
Через левое плечо.
Мне ль стесняться, словно бабе,
Офицер — не фунт го...
А зато в японском штабе
Мне уплачено сполна“.

Ходит злоба во народе,
Меледя, шевеля,
Во мужицком огороде
Конопля, конопля
Даже божии коровки
Коноплю трепать пошли.
Ах, и крепкие ж веревки
„Из мужицкой конопли“.
Под Раздольным наших мучит
Японча до мертва,
А в лесах у нас дремучих
Дерева, дерева.
Речи хиуры, будто шахты:
„Подочтем-от барыши“.

Эх, на наших деревьях-то
Сучья-крючья хороши*.

Нежным клювиком собирая
Справедливости росу,
Зарубите, самурай,
Эту сказку на носу.
И внесите-ка в учебник
Для японской детворы,
Что поют у нас в деревне
От папашинной игры.

Но политическая мягкотелость владивостокцев сменяется резкими нотами читинцев. Властный голос Москвы говорит в рупор буферной Дальневосточной республики.

Возвращаюсь из Владивостока на запад. Еду через Китай. Первое знакомство с этой страной, с ее изумительным антияпонским бойкотом. Под руководством щуплого, живого, иронического Ивина, учусь видеть Китай. Здесь, за границей, в обстановке лощенных селтльментов, доходит до какого-то предельного напряжения острая ненависть к самодовольной обожравшейся нарядной и надменной инострани во имя своей нищей, замученной войной и блокадой страны.

Предельный взрыв чувства родины, чувства общности с теми, кто голодает, холодает и, не теряя упорства, бьется там далеко на севере и западе, находит свое выражение в стихотворении „Рыд матерный“. Маленькие фельетоны, которые продолжаю печатать частью во владивостокской прессе, частью в ведущей советскую линию „Шанхайской жизни“, дорастают именно в это время до наивысшей квалификации (так мне кажется сейчас, когда я перелистываю старые альбомы моих газетных стихов и слежу рост себя как фельетониста).

Но работать фельетоны трудно.

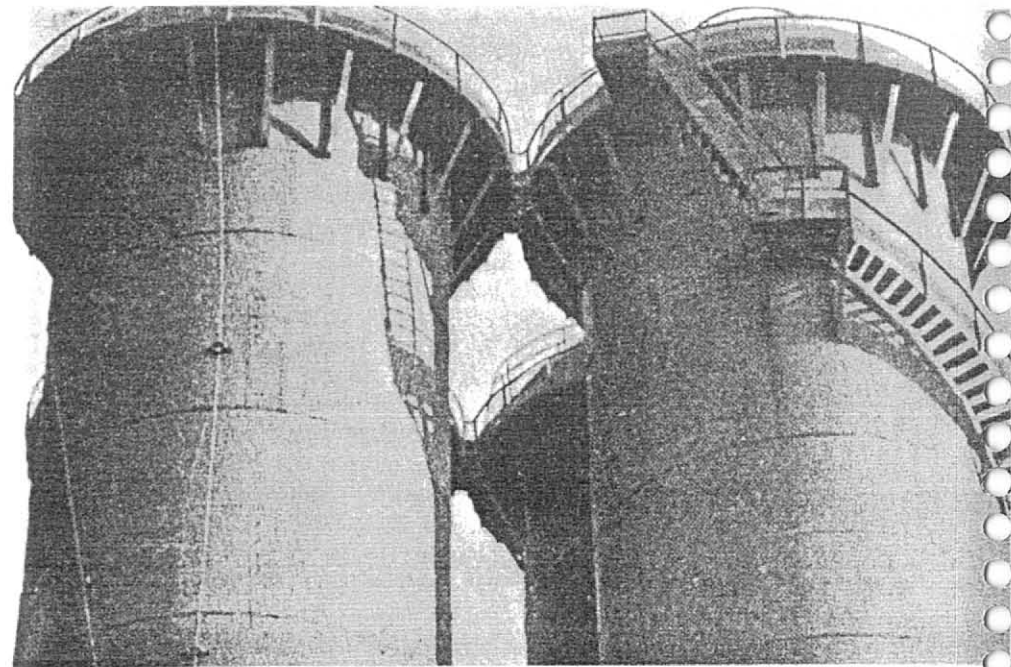
Владивостокские газеты платят за строчку гривенник, „Шанхайская жизнь“ — пятак. Притом же строчка полнометражная, т. е. от рифмы до рифмы. Поэтому фельетон неизбежно растет в длину.

В той же „Шанхайской жизни“ печатаю статью о „Мистерии Буфф“, а в советской колонии Пекина завариваю бесконечные споры о футуристическом и пролетарском искусстве, о понятном и непонятном, об искусстве и революции.

Весной 1921 года прорываюсь через Харбин в Читу, в эту песочную чашу, по улицам которой гуляют сухие сосны, и дорога к которой полна разрушенных мостов и взорванных станций со страшными названиями, напоминающими о сподвижниках атамана Семенова.

Чужак уже здесь. Он ладит номер 7 журнала „Творчество“, издает „Диалектику искусства“ и редактирует „Дальневосточный телеграф“ и „Дальневосточный путь“, газету Дальбюро большевиков.

Один за другим подтягиваются в Читу владивостокские работники искусства. Так создается параллельно журналу „Творчество“

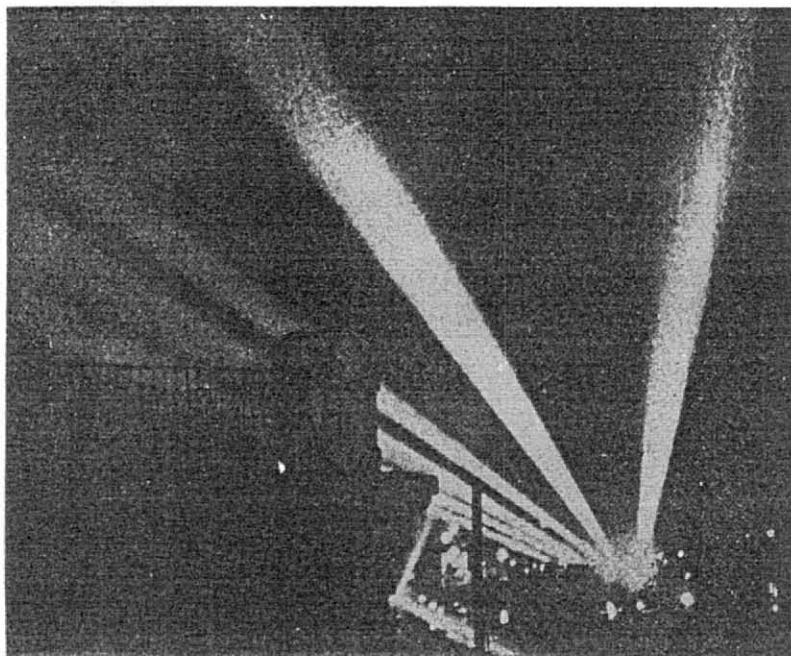


Кадры из фильма „11-ый“, работа Д. Вертова, оператор М. Кауфман, производство ВУФКУ.





Кадры из фильма „11-ый“, работа Д. Вертова, оператор М. Кауфман, производство ВУФКУ.



группа работников искусства под тем же именем — „Творчество“. — Этот дальневосточный ЛЕФ. У нас в руках Маяковские 150000000. Читаем на рабочих собраниях, в клубах и под открытым небом. Стихотворный разгул и высокий цафос нравятся аудитории, пожалуй ничего кроме „птичка божия не знает“ не слышавшей.

Летом на два месяца приезжаю в Москву. День отъезда совпадает с назначенным у железнодорожников митингом об искусстве. Сцепщик отзывает и говорит: — „вы только дайте согласие, а уж мы поезд объявим в неисправности и задержим отправку на день“. Но в том же поезде едет кто-то оказывающийся сильнее сцепщика. Железнодорожникам не удается задержать поезд.

В Москве гудят имажинисты и забившись в ростинские плакаты работает Маяковский и группа футуристов. Из имажинистов в это время мне кажется стоящим Есенин. Он буен и изобретателен. Меня ошарашивает крикливость „Стойла Пегаса“ и тяжелый дух литературной богемы, толкущейся в кафе Союза поэтов, что на Тверской.

Я в Москве, как раз в те месяцы, когда только что введенный нэп отвоевывает окно за окном под витрины и когда нарастают тяжкие травмы и недоумения у неприемлющих нэпа людей политики и людей искусства. Много дней пройдет, прежде чем снова они получат уверенность на новых рельсах.

В ИЗО коллеги Наркомпроса делаю доклад о китайских впечатлениях. Читаю А. В. Луначарскому „Рыд матерный“ и стихи, написанные за время пути через Сибирь по бревенчатым мостам вдоль залитых противохолерной известкой перронов, сквозь тихую прозрачность страны-победительницы, сквозящей худобой начавшегося выздоровления.

„Можно все забыть, но России
никогда не забудут люди...“

Это из моих путевых стихов.

Мне кажется, что в Москве есть интерес к нашему дальнему углу. Это радует. Раньше думалось — кому в Москве какое дело до нас на Востоке, в годы, когда центру приходится отбиваться от южных и западных врагов.

С кипами книг, лелея опоязовский сборник „Поэтику“, монографии о художниках и стихи, стихи, стихи, а также свернутые в трубу Ростинские плакаты, еду в Читу.

Там уже выставка футуриста Пальмова. На этой выставке делаю доклады о Москве, о том, что подобно ростинским работникам надо и нам целиком до дна и без отказа поставить искусство на революционно-политическую работу, что надо бороться за свежие головы самодеятельников-изобретателей, что наша работа там в центре будет видна, а поэтому работать радостно.

Художник Пальмов мнется, он только что наработал в Японии целую кучу самоцветных тропических картин, и, вот видите ли,

Москва уже плюнула на красочную станковщину, она уже куёт металл и пилит дерево, составляя пространственные и фактурные контррельефы. Но Пальмов принципиален. Он берется за железо и за линолеум. Из железа он выбивает рельефы, а линолеум использует для гравюр. Действуя этими гравюрами, мы с ним издаем соединенными усилиями несколько детских книжек (подвиг—дать цветную гравюру в условиях тогдашней читинской скудости), а также сатирический журнал „Дуболом“.

Журнал этот стряпали Пальмов, Асеев и я.

Перед его выпуском мы расклеили оповестительные ленты, с надписью на русском „Дуболом“ и английском „Doobolome“: Какой-то переусердствовавший умник всполюшил читинские власти, что „Дуболом“ есть не что иное, как зашифрованная фраза — „Дуй большевиков! Остался месяц!“

Этот эпизод был немедленно изложен в передовице первого номера „Дуболома“.

Работников-администраторов в Чите было мало. Председатель совета министров, знакомый еще по Владивостоку, большевик Никифоров, предложил мне на выбор, либо итти в товарищи министра внутренних дел, работа, которую я уже по его поручению выполнял во Владивостоке, либо в товарищи министра просвещения.

Для разнообразия выбрал второе. И оказалось, что совершенно напрасно. Кроме совершенно ненужной мотни с попытками создать государственный театр, где в качестве наиболее революционной достижения репетировались „Плоды просвещения“, ничего не получилось.

Больше того:

Около зала, отданного Минпросу под театр, начали ходить первые хозрасчетные облачка, по тем временам казавшиеся тучами удушливых газов. Первое столкновение „кассового и классового“ — идеологии и коммерции. Возникли, — кто их поймет где, — мысли вслух о том, что

„кроме серьезного репертуара надо устроить открытую сцену в столовой, где ставить миниатюры (без порнографии), художественный лубок, легкую музыку и революционную сатиру“.

В запальчивости и раздражении публикуя в газете следующее стихотворное соображение (надо полагать, к настоящему времени абсолютно устаревшее):

Уж мы просо сеяли, сеяли.
Уж Минпросы сеяли, сеяли
Коль не будет сырости, сырости —
Кукурузу вырастим, вырастим...

Против дефицита
Кассового
На почве аппетита
Внеклассового
Создать, как спецы говорят,
Обжорный ряд.

Но ведь только безголовый
Недорезанный баран
Не поймет, что под столовой
Надо мыслить — ресторан.

Но разве обывателю
Кусок полезет в глотку,
Когда не поливать его
Хотя бы только водкой.
Его легко поддеть ли
На взвинченные цены,
Коли не дать радетелю
Хотя б открытой сценны.

Лубок! Лубок! Лубок!
Изящный, полный прелести,
И смысла его глубок,
И легче ходят челюсти.
Угретый жир жуя
Зубами и глазенками,
Взыграет буржуя
Душа и селезенка.

Обласкай меня,
Обогрей,
В нежном пламени
Кабарей.

Толстопузика
В колыбель гони
Легкой музыкой
С фрикадельками.

Правительству потрафите,
И дело не завалится,
Коль будет порнографии
Не больше чем полпальца.
Партийным дикобразам
Зажмите рот сатиричкой,
И будет у лабаза
Почет, и любовь и выручка...

Боюсь, творят плохое чудо
Желающие, чтоб Минпрос
Был с девяти до трех — Христос,
А с трех до девяти — Иуда.

Чита во время требуквия — ДВР — кажется пузырем, раздутым вдсятеро. Скромный губернский аппарат, словно в павлиньих перьях ходит в пышных названиях министров („минов“, как их сокращенно называют). Забайкальская песочница с ее домишками на высоких фундаментах и голубыми ставнями ждет того дня, когда проткнутая указательным пальцем Москвы, она снова съжится и сядет как непропеченный кулич. А пока, пишу частушки:

У нас ли культ родителей
Не легок для помину.
У нас на сотню жителей
Приходится по „мину“.

И большую балладу о „Мине и Минне“, о которой гадали читинские „мины“, кому она адресована, да так и не догадались, ибо

герой баллады был личностью фонетической, пародийной и вымышленной.

Баллада о „Мине и Минне“.

Мин лежал на сеновале.
Мина мухи миновали
По надменной мине мина
Плыл загар алей кармина.
Через несколько минуток
В небесах узрел мин уток,
Взору мина милы птицы,
Мину в птицах что-то мнится.
А на камень севши Минна
Созерцала мину мина
В мина нос пахнул миндаль,
Зрит мин Минну, зрит мин даль.
В глубях минова кармана
Металлическая манна.
В сердце ж миновом картина:
Мин и минна у каминка.
Подведя под Минну мину
Мин умильно манит Минну.
„Минна, Минна, не томи!
Мину бедному аминь“.
Страсть прилипчивей миноги.
Зашагали мина ноги
Натиск в стиле военмина...
Побежала с воем Минна.
Это мин поставил в минус
Закрутил под носом мин ус,
Побелев в лице, как мел,
Мин немедля онемел.
Мин кипит минорным мавром
Мин нахмурен минотавром.
Поза мина — генерал.
Сердце мина — минерал.
О какой расскажет термин
Как страдает от потерь мин,
Если Минна так невнятна,
Что презрела даже мина.
И мрачней ночных сов мин
Шел совсем один в Совмин.

Центр тяжести работы группы „Творчество“ был в митингах об искусстве, которые устраивались нами в зале читинского „Народного собрания“ (Нарсоба). Зал вмещал до тысячи человек. Чита была городом тихим и скучным, кинематограф в ней был очень приблизительный. Попасть на митинг можно было за гривенник серебром, что в переводе на нормальные деньги было приблизительно 4 копейки. (Чита расплачивалась разменным серебром, расценивавшимся по весовой стоимости. Поэтому люди шли себе специальные кожаные карманы, чтобы не рвались от многофунтовых кошельков.)

Публика к митингам быстро приохотилась. Случалось нам подслушивать разговоры красноармейцев:

— В кино, или на футуристов?

— Давай на футуристов. Интереснее и веселее.

Вот как сзывал Чужак газетными объявлениями на эти митинги:

К ЗАВТРАШНЕМУ МИТИНГУ.

Приказ по „Творчеству“.

Завтра в субботу 24 сентября — всей наличной группе „Творчества“ быть на митинге искусства и давать все требуемые разъяснения. Докладчик — С. М. Третьяков. Тема — „О непонятном в искусстве“.

Призыв к небезразличным.

Небезразличные и желающие „понимать“ — приглашаются быть на митинге и свободно требовать от членов группы разъяснений.

К нежелающим „понимать“.

Тех, кто в формуле „не понимаю“ добавляют „и не желаю понимать“ — просят не беспокоиться.

Редактор „Творчества“
Н. Насимович-Чужак.

На этих митингах в крепкой драке с противниками мы прорабатывали и оснащали такие темы как „Искусство и революция“ „Форма и содержание“, „Эстетика и утилитаризм“.

Тут же вырабатывалось наше умение читать стихи, и не один из врагов после читки их, бывало, подходил к нам с заявлением: — Читая футуристические стихи в печати, я думал, что они чушь. Прослушав, я заявляю, что они отличны.

На этих митингах определялись и враги.

Были озлобленные интеллектуальные бюрократы, воспринимавшие футуризм, как оскорбление.

Были просто бузотеры „репличники“, приходившие состязаться в остроумии.

Были солидные начетчики, которых футуризм бил по солидности цитат и заученных аргументов.

Весело бить врагов, которые одновременно и политические враги.

Но досадно и больно было драться за эстетический радикализм, когда врагом оказывался коммунист.

Нарождались и присяжные защитники наших позиций. На трибуне диспута неизменно возникал профсоюзник Бобров и четко, словно гвозди параграфов вбивая в аудиторию, чеканил:

— А раз это так, то никаких оснований... и окал как костромич и прразддавливал согласные звуки в лепешку.

А за ним возникал брат его — необъятный как Эмиль Яннингс—Шатов, стремительный как ядро, пущенное на луно, и гвоздил:

— „Я до сих пор любил читать Надсона. Я ни черта не понял из того, что тут читали футуристы, но я вижу, они бьются за обновление стиля. Они взрывают старый вкус, а поэтому я, как революционер, обязан быть с ними“.

А затем нырял головой в лучину аплодисментов и негодующего рева.

Во время перерыва в работах Народного собрания (Нарсоба), мы могли пользоваться залом. Но близилась сессия, и нас начали выдворять. Тогда был сооружен „Искусстварь“, нечто вроде центральной опытной станции по взращиванию нового искусства.

В страшные читинские морозы, когда 52 градуса сквозь какую угодно верблюжатику сразу хватают за живот, сползались мы в темноватый „Искусстварь“, мурлыкая под нос девееровские частушки:

„Девеер, Девеер,
Сняя заплатка 1).
По тебе ли, Девеер,
Жить буржуям сладко.
Засосали б нас пески
Мелкие сыпучие
Да поверблужьему ходить
Граждане обучены.
На читинских улицах
Не видать асфальта,
Но зато Чита читает
Телеграммы Дальта 2).
Наша парни смехачи,
Девки белолицые.
Ой давно у нас трещит
Наша коалиция 3).
Мы Европе нос утрем
С нами не борись ты.
По Чите у нас живьем
Ходят футуристы“.

В комнате „Искусстваря“ репетировали бесконечно, так и не поставив трагедию „Владимир Маяковский“. Слушали лекции о китайской и японской культуре большого знатока этого дела, тов. Харнского, вели беседы о новой литературе, о методах стихописания, о чтении стихов со сходящимися к нам учениками семинарий и военно-политической школы.

Чита была городом почти нерасшевелемым. Старожилы сидели зачтаясь и озлобленно. Рабочие-железнодорожники жили в своем городке-слободе, Чита II.

1) Флаг ДВР был красный, запытаный синим квадратом.

2) Девееровский ТАСС.

3) Правительство ДВР состояло из одних коммунистов, а Совет министров был коалиционным под председательством коммуниста и не вылезал из кризисов.

Служащие республиканских учреждений и правительства чувствовали себя как на бивуаке.

Оседание художественного вкуса, имевшее место в центре РСФСР, чувствовалось и здесь на окраине. Правда, сюда оно приходило только сейчас. Провинция догоняла центр с опозданием. Дальневосточный 1922 год соответствовал Московскому 1919.

Травля футуристов вспыхнула к сессии „Нарсоба“.

В ДВР по всем буферным правилам легально существовали партии меньшевиков, эсеров и даже торгово-промышленников. Кроме нападков на власть по линии политико-экономической, они язвили ее по культурной. Бить футуристов было наиболее выгодно и легко — слова „шуты“, „рыжие“, „сумасшедшие“ — имели шансы на успех у обывательской галереи.

Натиски эсеров и меньшевиков особенно усилились во время предвыборной кампании, когда вся группа „Творчество“ стала на предвыборную агитационную работу, организуя живые газеты, пища лозунги, наворачивая плакаты, сочиняя политчастушки.

Избирательный список большевиков был 5-й.

Вот из распевавшихся моих частушек:

Ты не будь миленок стервой,
Не срами Россию мать.
Не держись за список первый
Голосуй за номер пять.
Захотел меньшевик
В мутях рыбку половить,
Мучился не вымучил
Только штандцы вымочил.
Ах эсер, ты мой эсер,
Не трещи горошком.
С нами Эресефесер,
А с тобой япошка.
Эй, работницкая рать,
Помни крепко вот чего:
Только красный номер пять
Выручит рабочего.

И припечатывали маршевой декламацией:

Врага в бою
Штыком бью,
А в избирательном строе
Билетом крою.

А темным вечером железнодорожники везли нас на паровозе из своей слободы в Читу I, и в митинговом возбуждении с паровоза сыпались лозунги и частушки навстречу молчаливым фигурам часовых, охранявшим железнодорожный мост через реку Читинку.

Поход на футуристов был дружный. Профсоюзники расформировали агитпоезд, мотивируя это чтением на поезде стихов, которых и сами поэты не понимают.

Смеюсь в фельетоне:

О народе
Беспокоюсь,
Кто то спялал
Агитпоезд,
Чтоб носиться
В нем по свету
Живописцу
И поэту.
О народе
Беспокоюсь,
Кто-то кокнул
Агитпоезд,
Главный тезис —
Страшный риск:
Вдруг залезет
Футурист.

.....
и т. д.,

А тут же рыжий кудластый сочувственник приезжает с Амура и задыхаясь рассказывает:

— Читал в деревнях Маяковского и Пушкина. Так чалдоны Пушкина не поняли и зашикали.

Меньшевистские и эсеровские газетки выходили только перед сессией и во время выборов. Их натиск на группу „Творчество“ был совершенно оголтелый.

Приходилось отругиваться наотмашь:

Эсер с меньшевичком,
Здравши хвост крючком,
Почали гавку песью
С песей, поистине, сиесью:

Ну-ка, ну-ка на врага!
Гав! —
Гав! —
Гав! —
Гав! —

Зададим им батога, —
Гав! —
Гав! —
Гав! —
Гав —

Визг и писк на всех путях, —
Тяв! —
Тяв! —
Тяв! —
Тяв! —

Мы де сила, а не пуф, —
Вуф!

.....
Собачке, что этика? Вздор.
Запросов совсем немножко:
Подойти к футуристу с задов
И сделать попесью ножкой.

И собачке легче,
И футуристу гаже.
И репутация хлеще
И газетка в тираже.

Собачка поносит
Словами поносными.
А ветер поносит
Читинскими соснами.

Результат, хоть поган, да
Зато пропаганда.

И опять на всех путях
Собачинный слышен тав; —

„Раскричавшись попугаями,
То-то „фатов“ напугаем мы.
Пусть я ростом плюгав,
Гав — гав,
Но зато я лягав —
Гав — гав,
Изорву штаны до дыр, —
Гыррр..“

А ведь дело простенько,
Как апельсин:
Кому, кому песинька,
А кому сукни сын.

.....

Когда Нарсоб открыли, в нем начался воистину спектакль. Тов. Никифорову, председателю ДВРовского совета министров, задавали совершенно невероятные вопросы. С правой части Нарсоба встал длинный лысый (похожий на т. Скворцова-Степанова по манере держаться прямо) баптист и заунывным голосом спросил: — „Известно ли предсовмину, что летом на Зее громом убило семь коммунистов и не видит ли в этом предсовмин перст Божий?“

Больше десятка вопросов было задано и о футуристах. Вот к примеру два таких вопроса:

„Известно, что второй товарищ министра народного просвещения Третьяков является идеологом футуризма. Имеет ли это какое-либо идейное симптоматическое значение, могущее, например, повлечь за собой включение в программу школ урока о футуризме (вместо изъятых закона божия)“.

Деп. Черняев (представитель православных приходов).

„Почему Совмином допущено господствующее влияние на дела народного просвещения чуждой этому, делу организации футуристов и почему вообще М. Н. П. не является коалицией живых и действенных культурных сил, а остается до сих пор футуристическим“.

Величанский (Фракция Сиб. союза с.-рев.).

Тов. Никифоров на эти вопросы не отвечал. Ответил я в газете строками фельетона:

Собралось их триста,
И забрал их зуд.
Взяли футуриста
И взагрыз грызут.

Шип идет в песочном городишке.
Он? Посмел! Ишь! Каков!
Этот самый Третьяков.
Чтоб ему ни два и ни покрывки.

Футуристов — за кры.
Предсовмину — вопрос.
Крик
Рык
Воп
Рос.

Такой словоладон вырос,
Что в конец оцеквел Нарсоб:
Не трибуна — а клирос,
Не оратор — а поп.

Заседание? не годится;
Назвать — всеобщие бдениэ,
Да попрыскать святой водицей
От футурного навождения.
Так без броду лязят в воду.
В результате ж анекдот;
От церковного „прихода“
Для мозгов один „расход“.

Хорошо бы огромный чан сковать
И спустить на морскую воду,
Посадив в него Величанского
Со всем православным приходом.
То-то бы в чане от зыка грохало —
Власть.
То-то бы рыбы в море подохло —
Страсть.

А заслоня эти местные маленькие драки и свары, на дальневосточном конце ДВР идет мучительный бой с засевшим во Владивостоке быкоголовым домовладельцем Меркуловым. Меркулов — последняя ставка японской интервенции. Он подымает в поход остатки колчаковских армий, но Красная армия, под командой Блюхера, сквозь мороз и проволочные заграждения, сквозь огонь белогвардейских броневиков проламывается через реку Ин к Хабаровску, знаменуя начало окончательного конца для белого Владивостока. Фельетонная работа, направленная по адресу Владивостока и его тылов Японии и Харбина, — это целая книга. Незнамов и я, мы пишем под коллективным псевдонимом „Деревообделочник“. Изо дня в день работает штык строк. Вспомню здесь только одну кратчайшую свою эпиграмму:

Палка по погани плачет,
Близится прыткий стрекач.
Бо слово Меркулов значит —
МЕРаавец
КУлак
ЛОВкач.

Изо дня в день, стих за стихом — опоганиваем Меркулятину. Подбадриваем бьющегося армейца. Треплем смешных головоотяпов в ведомствах. Издеваемся над зарубежными врагами.

А из Москвы идут газеты и книги, свежие номера новорожденной „Красной Нови“ и маленькие книжонки МАФА (Московской Ассоциации Футуристов).

Пишу о творчестве Казина, с которым познакомился в Москве. Он и его соратники радуют, хочется видеть в них крепкую задорную смену. Еще не предвидишь, как пролетпоззия свернет в пролетакадемизм.

Группа „Творчество“ начинает таять, тяня в центр — в Москву. В Москве веселый котел. Комсомольская раскаленная аудитория, разметывающая барьеры диспутов.

В слете футуристов, вызревает ЛЕФ.

Ясная и четкая голова Арватова готовит книгу „Искусство и классы“. Подымаются пролетарские поэты. Радуетя комсомолия и радуемся мы Безыменскому с его гардеробом — „Шапкой“ и „Валенками“.

Но зудят пальцы по фельетону. Завидки берут, глядя на строки Маяковского на полосах „Известий“.

Литовский, секретарь „Известий“ зовет — идите к нам, пишите.

Для пробы вываливаю на редакционный стол восемь фельетонов на разные темы и размеры.

Дни идут, фельетоны не идут.

Деньги получены — фельетоны не идут.

„Сам“ не пропускает — вернувшийся из отпуска Стеклов.

Прихожу. Интеллигентный и обаятельный, как американский дядюшка, он берет меня за талию и ходит по коридору:

— Грубо у вас в фельетоне, очень грубо. А потом размер сбивающийся. Ямбом бы надо. Ямб! Ямб! Как это у Пушкина, великолепно ямбом написано... и он цитирует.

Я знаю, что мне ямб не по руке, что мои фельетоны уже разрезаны мягко и безболезненно, и я отвечаю также интеллигентно и восторженно.

— Как жаль, т. Стеклов, что ваша газета выходит не сто лет назад. Какие бы тогда у вас сотрудники были — Пушкин, Лермонтов, Жуковский.

Мы растаемся немедленно. Он — в редакторское кресло; я — в рокот и крик Тверской.

Современники.

В. Перцов

(Гастев, Хлебников)

Гастев.

Я представлял себе Гастева высоким молодым парнем в сапогах, непременно кудрявым. Таковы были его произведения, которые в первые годы революции — 1918 и 1919 — стали печататься по-

всюду, — в журналах „Творчество“, „Пламя“ и других, носивших не менее восторженное имя. В этих странных не то стихах, не то прозе поражало сочетание невиданного индустриального пафоса с какой-то ничем не прикрытой наивностью и безвкусицей.

Его первая книжка, изданная Петроградским пролеткультом, — небольшая брошюрка, в которой было три десятка стихотворений, — так и была названа без экивоков, что называется в лоб — „Поэзия рабочего удара“.

Такие вещи должны были выйти из-под пера только очень молодого и влюбленного в свой голос человека.

Все оказалось не так, как я думал. Гастев был почти вдвое старше меня, носил рыжие усы и немного стыдился своей поэзии. Вероятно, многие из своих стихов он написал давно, еще в Париже, когда вместе с А. В. Луначарским и, кажется, Лебедевым-Полянским, устраивал там „Лигу пролетарской культуры“.

Он гордился своим тщательным анализом профессии металлиста и ошарашивал своих литературных друзей длинными бумажными простынями, на которых по клеткам были разнесены тайны рабочей квалификации.

Эту свою работу он проделал в 1918 году на заводе б. Всеобщей компании электричества.

Когда его удавалось вызвать на литературные разговоры, он становился непримиримым отрицателем. В то время ему было глубоко чуждо какое бы то ни было преклонение перед прежней литературой, свойственное людям горьковской биографии.

Он воплощал в себе образ пролетариата не как класса-преемника, хранителя культурных традиций, но как класса-новатора.

Уже в то время „хранителей“ развелось великое множество, и была справедливость в том, что человек, связанный неразрывно с политической и культурной историей пролетариата, резко выступал в защиту новых художественных форм.

Многие хорошие революционеры относились к искусству примерно так, как к фабрикам и заводам: перешло, мол, в собственность рабочих и крестьян, значит, заноси в инвентарь, пользуйся по потребностям, охраняй это народное достояние по способностям.

Но Гастев к фабрикам и заводам относился несколько по-другому. Он был еретиком. Он носился со своими планами новой организации работ, которые казались вдвойне фантастическими на фоне непосредственной вооруженной борьбы за территорию. Гастев исходил из того, что новый собственник производства — класс производителей — должен был дать и новую постановку вопроса о формах и методах этого производства.

Тем более радикально мог ставить он вопрос о новых формах художественной культуры.

В одной из своих статей, намечая „контур пролетарской культуры“, Гастев утверждал:

„С пролетарской культурой мы должны связать ошеломляющую революцию художественных приемов. В частности, художникам слова

придется разрешить уже не такую задачу, какую поставили себе футуристы, а гораздо выше.

Если футуристы выдвинули проблему „словотворчества“, то пролетариат неизбежно ее тоже выдвинет, но самое слово он будет реформировать не грамматически, а он рискнет, так сказать, на технизацию слова“ („Пролетарская культура“, 1919 г. № 9—10).

С этим багажом своих художественных связей он не расстался и много лет спустя. Создавая свой метод научной организации, он работал одно время над формальным анализом резолюции пленума ЦК партии „О хозяйственном положении“. Его заботила мысль о том, что такие важнейшие документы, как резолюции, определяя собой поведение тысяч и миллионов людей, являются недостаточно определенными и точными по своей форме.

Исследуя методы организации словесного материала, он вспоминал Хлебникова:

„Такой гений слова, как Велемир Хлебников, свои поэтические изыскания закончил, собственно говоря, инженерией слова и математикой образа“ (Гастев, „Плановые предпосылки“, изд-во НК РКК СССР, М., 1926 г.).

В 1918/19 годах Гастев, как поэт, числился за Пролеткультом. Там предлагали „взять“ старую форму и „вливать“ в нее новое содержание. Это было очень далеко от того, что хотел делать Гастев.

Когда „содержание“ отдали на откуп пролетарским поэтам, а профессиональных мастеров слова хотели сделать спецами по вопросам формы, то в равной мере развращали и тех и других. Нужно было, чтобы прошел ряд лет и на примере Кириллова, Герасимова, Александровского и других „первых учеников“ Брюсова-Белого увидели плачевные результаты этого „вливания“.

От Пролеткульта Гастев отделился легко и окопался на заводе, не связав себя положением профессионального литератора. В этот короткий промежуток времени, в 1919 году, когда он вновь вернулся к искусству, симпатии его окончательно определились. Его союз с футуристами хотя и не принял организационных форм (Гастев в этом отношении человек „дикий“), но уже стал постоянной платформой его выступлений.

Творчество Маяковского и Хлебникова произвело на него могучее впечатление. Если он искал характеристики художественной культуры пролетариата, то он обращался неминуемо к футуризму, чтобы, оттолкнувшись от него, обосновать свои предвидения.

Хлебников писал о Гастеве:

„Это обломок рабочего пожара, взятого в его чистой сущности, это не ты и не он, а твердое „я“ пожара рабочей свободы, это заводский гудок, протягивающий руку из пламени, чтобы снять венчик с головы усталого Пушкина — чугунные листья, расплавленные в огненной руке“.

Литературные произведения, написанные Гастевым в послереволюционный период, созданы в атмосфере этих настроений. Они

резко отличаются от того раннего периода творчества, который в последнем издании его книги знаменательно озаглавлен „Романтика“.

Гастев не доверял слову, взятому в его привычном литературном выражении. Он стремился его „реформировать“, создавая тем отсрочки для окончательного решения.

„Мы пришли с новой вестью, достоверной, как железо, и бодрой, как звуки мотора в пустыне...“

...Не тех пропетых, говоренных человеческих слов.

— Хотим выше...

...Мы их поднимем, взвеличим, механизмы.

Пусть же тревожней и выше занудят валы.

Стремглав ударят миллионами рук кузнецы.

И прервут.

Прольется лавина чугунного грохота.

Дрогнет земля под паровыми молотами, зашатаются города, стальные, машинные горы заполнят все пустыри и дебри рабочим трепетом.

И прервут.

Промчатся огненные вестники подземных мятежей.

И еще прервут зловеще.

...Выйдут силачи — чудеса-машины-башни.

Смело провозгласят катастрофу...

...Оратор, замолкни.

Певучие легенды, застыньте.

Ох, послушаем, —

Заговорят возведенные нами домны.

Запоют вознесенные нами балки“.

— Анонимная воля производительного класса гремела в этих призывах.

„Нет сил.

Мы валимся на работе.

Хлеб остается только в музеях:

Надо решиться: мы манифестируем.

Трубы голодной дивизии дымят непрерывно. Они шествуют в дымовом кессоне. Солнце завешено. Многомильный суровый мрак — знамя дивизии голода.

Ураганная открывается работа.

Плуги — ихтиозавры в тысячу челюстей. Впиваются. Жрут застывшую землю и тут же, испепеленную, изрыгают...

Стелют мягкое поле для хлеба.

Хлеб еще не снят. Урожай еще не собран.

А работникам плохо...

— Те, которые могут проработать без усталости сорок восемь часов, — на экстренные поезда.

И бесповоротно:

делаем,

работаем,

достигаем.

Выхода нет: умереть или изобрести.

В корнях зеленого хлеба задрожали растительные токи.

И солнцем управляют как плавильной печью...

Хлеба наливаются часами, минутами“.

Это поэзия „конкретных предложений“. В эпоху военного коммунизма был заготовлен гимн индустриализации, марш эпохи великих работ.

Приближалась развязка. От таких слов можно было переходить только к делу. „Пачка ордеров“ — последнее произведение Гастева, написанное им в 1921 год, ставило точку. В „технической инструкции“, сопровождавшей „ордера“, автор указывал: „идет грузное действие, и „пачка“ дается слушателю, как либретто вещевых событий“.

Ордер 05.

Инженерьте обывателей.

Загнать им геометрию в шею.

Логарифмы им в жесты.

Опакостить их романтику.

Тонны негодования.

Нормализация слов от полюса к полюсу.

Фразы по десятиричной системе.

Котельное предприятие речей.

Уничтожить словесность.

Огортанить туннели...

Бедные мечтатели пролеткультской эстетики.

Гастев однажды уже ушел от них и теперь.

Уходил, чтобы не возвращаться.

Этот бешеный залп повелительных наклонений был „формулой перехода“ к настоящему событию, к большому движению людей и вещей. Гастев выносил к этому моменту свой замысел института труда и сквозь огромное сопротивление времени прорвался к реальной работе по переделке рабочего человека.

Хлебников.

(Умер 28 июля 1922 года.)

Впечатление от Хлебникова для меня во многом было сходно с впечатлением от Октябрьской революции. По совести, я плохо разбирался в ней, но она меня поразила, как невероятное перемещение людей и предметов с насиженных мест. И я восторженно сочувствовал.

Но в Октябрьской революции я, смею сказать, разобрался и знаю теперь, что к чему.

А фигура Хлебникова как была, так и остается загадочной, хотя

я восторженно сочувствовал ему с первой встречи во всех его делах. Признаться, я далеко не все в нем понимал.

Удивительно, до чего он подходил к эпохе военного коммунизма. Гимнастерка — настоящая солдатская, без карманов, обмотки, грубые „американские“ штилеты, которые, как мешки, завязывались веревками, какая-то не то шинель, вместо шапки — „ордер на мир“, ничего определенного в смысле еды и места жительства.

От старого мира остался у него фрак, который он носил в университете, изучая физико-математические науки. Этот не гармонизированный со всеобщим цветом хаки черный лоскут он навлекал на себя в парадных случаях, не сомневаясь в том, что, по закону этот контрастов, убор искупит все бывшие налицо недостатки костюма.

В этом виде он напоминал негра из картины „Трус“, когда тот, прислуживая, надевал чуть ли не на голое тело визитку. Хлебников носил свой фрак, как символ. Он был выше деталей.

Говорил Хлебников настолько особенно, что хотелось его перездразнить, и, действительно, некоторые в подражании ему очень успевали. Голосом походил на скопца или заводную куклу — и это тем более, что его речения распределялись во времени как бы периодически, по зазубринам завода.

Такой прерывистой горячей скороговоркой разговаривал инженер Кириллов в „Бесах“ Достоевского.

Липутин рассказал при всех, что Кириллов составляет статью о причинах участившихся случаев самоубийств в России. Кириллов взволновался:

„Это вы вовсе не имеете права, я вовсе не статью. Я не стану глупостей. Я вас конфиденциально просил, совсем нечаянно. Тут не статья вовсе, я не публикую, а вы не имеете права...“

Такая отрывистая речь с пропуском сказуемых была характерна для Хлебникова.

Я как-то сразу уверовал в его недоожинные, почти таинственные способности, но вскоре получил возможность на деле, можно сказать в обстановке эксперимента, убедиться в них.

Нужно было написать всем понятную статью, в которой были бы изложены некоторые принципы нового художественного движения. Эта статья появилась впоследствии (в 1921 году) в сборнике „Лирень“ под заглавием „Наша основа“, изданном по инициативе Г. Н. Петникова.

Как-то я увидел Хлебникова и затащил его к себе. По обыкновению он хотел есть. Я приготовил ему горку бутербродов, усадил его за стол, дал бумагу и перо, и Хлебников моментально стал покрывать бумагу мелкими кругловатыми значками.

Писал он совершенно безостановочно, ничего не перечеркивая, как будто переписывал с ясно напечатанного текста. По мере того как росла стопка исписанных листов, уменьшалась стопка бутербродов — и, когда она кончилась, Хлебников остановился. Пришлось вновь подбрасывать топливо. Так он и написал единым ду-

хом целый печатный лист, не отходя от стола, на память цитируя примеры, исторические события, давно прошедшие даты, словом — целую энциклопедию справок.

Немудрено, что написанное Хлебниковым не поддается учету. Он мог производить в любое время, в любом количестве, была бы только бумага и карандаш. В столе не нуждался, так как писал и лежа и в любом положении.

У него все было приготовлено на годы, на десятилетия вперед. Поэтому, когда он принимался писать, то просто открывал кран. И тогда — хорошо устоявшаяся, крепкая струя спокойно шла.

Если Хлебников жил на одном месте в течение некоторого времени, то он покрывал своими значками все сохранявшие след пера предметы.

Из белья у него была только одна наволока, но эта наволока имеет историко-литературное значение. В ней он хранил рукописи — получалась хорошая подушка. Это литературное наследие утрачивалось по листкам, но в подушку шли новые и новые лоскуты — она не тошала.

Влияние Хлебникова на так называемое левое искусство в России было громадно — и несравнимо ни с каким другим влиянием. Велемир Хлебников говорил первые слова, которые разрослись, отделившись от автора, и вошли в плоть и кровь передового художественного движения последних десятилетий.

В своей замечательной листовке „Труба марсиан“ он впервые поставил вопрос об изобретении в искусстве.

„Пусть млечный путь расколется на млечный путь изобретателей и млечный путь приобретателей“, — вот слова новой священной вражды.

„Наши вопросы в пустое пространство, где еще не было человека — их мы будем властно выжигать и на лбу млечного пути и круглом божестве купцов — вопросы, как освободить крылатый двигатель от жирной гусеницы товарного поезда старших возрастов. Пусть возрасты разделятся и живут отдельно...“

...Пусть те, кто ближе к смерти, чем к рождению, сдадутся, падут на лопатки в борьбе времен под нашим натиском дикарей. А мы — мы, исследовав почву материка времени, нашли, что она плодородна...“

...Мы зовем в страну, где говорят деревья, где научные союзы похожие на волны, где весенние войска любви, где время цветет, как черемуха, и двигает, как поршень, где зачеловек в переднике плотника пилит времена на доски и, как токарь, обращается со своим завтра... Мы идем туда, юноши, и вдруг кто-то мертвый, кто-то костлявый мешает нам вылинять из перьев дурацкого сегодня...“

...Приобретатели всегда стадами кралась за изобретателями...“

...Вся промышленность современного земного шара с точки зрения самих приобретателей есть „кража“ (язык и нравы приобретателей) у первого изобретателя — Гаусса. Он создал учение о молнии.

А у него при жизни не было и 150 рублей в год на его ученые работы.

Памятниками и хвалебными статьями вы стараетесь освятить радость совершенной кражи и умерить рычание совети, подозрительно находящейся в вашем червеобразном отростке. Якобы ваше знамя — Пушкин и Лермонтов — были вами некогда прикончены, как бешеные собаки, за городом, в поле. Лобачевский отсылался вами в приходские учителя, Монгольфьер был в желтом доме...

Вот ваши подвиги, ими можно исписать толстые книги.

Вот почему изобретатели в полном сознании своей особой породы, других нравов и особого посольства отделяются от приобретателей в независимое государство времени и ставят между собой и ими железные прутья. Будущее решит, кто очутился в зверинце, изобретатели или приобретатели, и кто будет грызть кочергу зубами* (1916 г.).

После этой тирады не чувствуется необходимости объяснять, как Хлебников принял революцию. Отсюда, из „Трубы марсиан“, в 1918 и 1919 годах газета футуристов „Искусство коммуны“ взяла лозунг: „Пусть млечный путь расколется на млечный путь изобретателей и млечный путь приобретателей“.

У Хлебникова была своя диковинная, хотя и обоснованная громадным количеством ссылок, социальная теория. Ее можно было бы назвать „математическим пониманием истории“. С точки зрения марксистской социологии теория эта не выдержит критики. Но его фантастическое учение о ритме в истории было исполнено колоссального революционного пафоса.

Хлебников уверенно экспериментировал над словом, разыскивая его последний исток и путь, который оно прошло. Его анализ делал язык прозрачным до дна и вселял огромную веру в его дореволюционное преобразование. Хлебников установил, как исследователь, и доказал, как поэт, что звуковым станком языков является азбука, каждый звук которой скрывает вполне точный словообраз.

„Общественные деятели вряд ли учитывали тот вред, который наносится неудачно построенным словом.

Это потому, что нет счетоводных книг расходования народного разума. И нет путейцев языка. Как часто дух языка допускает прямое слово, простую перемену согласного звука в уже существующем слове, но вместо него весь народ пользуется сложным и ломким описательным выражением и увеличивает растрату мирового разума времени, отданным на раздумье. Кто из Москвы в Киев поедет через Нью-Йорк? А какая строка современного книжного языка свободна от таких путешествий? Это потому, что нет науки словотворчества* („Наша основа“).

В последние годы своей жизни Хлебников задумал раскрыть и систематизировать свои методы работы над словом. Он появился в Москве в начале зэпа, неожиданный, как возникал всегда и везде, возвратясь от своих непонятных странствий. Рукописей уже было столько, что они не помещались в подушке. Он сделал из них

нечто вроде тюфяка или, во всяком случае, бумажного покроя такой толщины, которая несколько предохраняла от железных прутьев кровати. Поселился он во Вхутемасе, кажется у Митурича. Там он вскоре написал свое нашумевшее стихотворение:

Эй, молодчики, купчики,
Ветерок в голове,
В Пугачевском тулупчике
Я иду по Москве.
Не затем высока
Воля правды у нас,
В соболях, рысаках
Чтоб катались глумясь.
Не затем у врага
Кровь лилась по дешовке,
Чтоб несли жемчуга
Руки каждой торговки.
Не зубами скрипеть
Ночью долгою.
Буду плять, буду неть
Доном, Волгою.
Я пошлю вперед
Вечерные струги.
Кто со мною в полет?
А со мной мои други.

Ему повезло; стихотворение было стараниями друзей—футуристов, главным образом В. Маяковского напечатано в московских „Известиях“.

Но литература его не принимала, увенчав в некрологе его смерть победоносным невежеством одного московского профессора.

Хлебников прошел с плугом своего бесстрашного анализа по каменистой почве привычных штампов языка, разворотил ее и принял на свои плечи тяжелую черновую работу, подготовившую всю новую художественную практику.

Очевидно он взял слишком глубоко. Не нашлось бороны, которая смогла бы заровнять вывороченные им пласты, чтобы они смогли послушно принять зерна посева.

Так Хлебникову не удалось „устроиться“ при жизни.

Устроится ли писатель Хлебников после смерти?

Черноморские футуристы.

С. Кирсанов

В сущности Октябрьскую революцию я не помню. Мне было слишком мало лет (10—11-й) для непосредственного участия и сознательного наблюдения. Однако конец 1917 года был для меня датой первого моего литературного выступления.

Керенщина продолжалась в Одессе дольше, нежели в других центрах. На стене III класса одесской 2-й гимназии, где я учился, до знаменитых дней крейсера „Алмаз“ висел портрет Николая.



На „пустом“ уроке однажды я прочел свое стихотворение нашему классу. Конец его у меня сохранился.

Наступает нам черед
рваться бомбами по всем,
Искомзал и Румчерод,
Искомюз и Искомсев,
Черноморской воле вод
шлет декреты Циксорсод,
и звенит из воли воли —
— „Со стены Николку вон!“

Соученики, большей частью чиновничьи сынки, за этот стих меня побили. Классный надзиратель, чудесный человек (лет через пять я его встретил в красноармейской форме), оставил класс без обеда и, прочтя мое творение, ласково сказал:

— „Ишь ты, футурист!“

С тех пор это прозвище осталось за мной. Но охота заниматься поэзией у меня пропала надолго. Следующее, уже сознательно футуристическое стихотворение я написал в 1920 году, когда Одессу окончательно заняли красные.

Одесса в те времена была очень литературным городом. „Южно-русское товарищество писателей“ — реакционнейшая организация, созданная Бунинным, Юшкевичем и др., и богомный „Коллектив поэтов“. Кроме них — кафе поэтов „Хлам“, „Пэон Четвертый“, „Меблированный остров“ и несколько мелких кружков вроде „Зеленой лампы“ и пр. Писателей насчитывалось штук 500.

Все левое выражалось поэтом Алексеем Чичериним, который жил литературными вечерами, на которых читал стихи Маяковского. Строчки из „Человека“ — „Ну, как Владим Владимич, нравится бездна?“ он видоизменил на: „Ну, как Алексей Николаевич, нравится бездна?“, что вводило наивную публику в заблуждение.

Кстати, Чичерин недавно на своем вечере „Канфун“ яростно напал на Маяковского, забыв, вероятно, об этом бывшем его источнике существования.

Тринадцатилетний, я пришел в „Коллектив поэтов“, ошарашил заумью и через короткое время нашел соратников.

Большая часть левых работала в Югросге. Весь юг обслуживался ими. Нынешние московские писатели, Ю. Олеша, Вал. Катаев и др., забросив наслажденческую поэтическую работу, выполняли тысячи плакатов и агитстихов.

В это же время в Одессе подвизался Георгий Шенгели — исследователь стиха.

Наиболее левые соорганизовались в группу, имевшую своей целью травлю старья.

Однажды Шенгели устроил свой „поэзо-вечер“. Мы решили эпатировать. Была приобретена черепаха, отпечатаны листовки, а один из нас загримирован под Шенгеля. В самый лирический момент во время чтения Шенгели стихов черепаха была пущена на сунец, с балкона в публику полетели листовки, а в зале появился

Шенгели № 2 под обихий хохот. Вечер был сорван, а Шенгели для Одессы окончен.

Нужно прибавить, что кроме своих исследований и стихов Шенгели отличался оригинальной внешностью. Он носил густые черные баки и на плечах шерстяное одеяло вместо плаща. Однажды, когда Шенгели читал стихи, в зале раздался робкий летский голос:

— Мамоцка, это Пудкин?

Это так повлияло на мэтра, что он оставил Одессу для более славных лавров.

Первомайские празднества в 1921 году обслуживались левыми, объединившимися в „Коллективе“. Тогда в первый раз я выступал с автомобиля перед одесскими рабочими с чтением стихов Маяковского, Асеева, Каменского, Третьякова и Кирсанова.

Засим большинство разъехалось, я остался единицей.

Мне приходилось представлять все левое в Одессе. Трудности колоссальные.

С одной стороны Русское товарищество писателей, с другой — мама и папа не признавали футуризм.

Тем не менее люди были найдены, и в 1922 г. была организована, по примеру „МАФ“ — Одесская ассоциация футуристов — „ОАФ“.

Нас было мало, и вся работа была лабораторной. Было несколько публичных выступлений.

Через год я случайно узнал, что существует помимо нас еще одна левая группировка. Обе группы были слиты — и возник „Одесский Леф“. Политпросвет предоставил разрушенный дом, и мы, человек 50 футуристов-поэтов, актеров, художников и джаз-бандитов, — собственными руками отстроили его, постлали крышу и открыли театр. Одновременно шло завоевание прессы. Напечатали воззвание „За театральный Октябрь“ и статью „Что такое Леф?“

Открытие футуристического театра и напечатание статьи вызвали дискуссию и невероятную шумиху. Появились какие-то лекторы, улицы зацвели афишами диспутов. Неизвестные лекторы собирали на доклады о Лефе массу народу и бессовестно искажали наши задачи. Один лектор договорился до того, что заявил дословно:

— Леф уносит нас в прекрасную златоветную сказку чаруйного небытия.

Мы, лефовцы, крыли их почем зря, разоблачали и уничтожали. Впервые приехал в Одессу Маяковский, уяснивший нам настоящие задачи левого фронта. Но потом нас тоже уничтожили. Театр был передан коллективу „Массодрам“ (нечто вроде московского Камерного), и все разбрелось.

Опять я остался в единственном числе. Тем временем „Южное товарищество“ продолжало цвести, родилась новая группа quasi-пролетписателей „Весенние потоки“, после переименованная себя

в „Потоки Октября“. Одно название свидетельствует о бездарности и безвкусице этих писателей. Нужно было бороться, а людей не было.

Приехал из Москвы Л. Недоля. Он, я и еще несколько товарищей сделали Юголеф.

Сначала это был просто литкружок. Мы выступали по клубам и предприятиям и вели лабораторную работу.

Первая большая практическая работа была сделана 1 мая. Нам было предоставлено агитпропом несколько грузовиков, с которых мы выступали, агитируя за новое, в том числе и за искусство — за Леф.

Всего за один день было свыше 80 выступлений. Было обслужено тысяч пятьдесят человек. На мою долю пало тридцать выступлений, т. е. за восемь часов мной было прочитано шестьдесят стихотворений. Чем не рекорд?

Ни один революционный праздник не обходился без нашего участия.

Поле действий ширилось, ширилась и организация. Одного лефовского клуба стало недостаточно, открыли второй клуб. Число членов Юголефа перевалило за пятьсот.

В ряде южных городов (Севастополь, Екатеринослав, Зиновьевск и т. д.) и даже деревень возникли отделения. В Одессе Юголеф имел семь мастерских, два клуба, театр и столовую. Таким образом группа людей, объединенных одной идеей, превратилась в громоздкую организацию, где большая часть труда уходила не на изобретательскую работу на искусстве, а на администрирование и руководство.

Издательство Юголефа, выпустившее пять номеров журнала и несколько листовок, захирело, появился какой-то внутриорганизационный бюрократизм. Тогда часть наиболее активных работников, в том числе и я, потребовали вмешательства московского Лефа.

Л. Недоля и я были посланы в Москву, было созвано Всесоюзное совещание левого фронта искусств. Леф осудил организационное увлечение Лефа, но по приезде уже невозможно было залечить эту болезнь и Юголеф был распущен.

Тут еще раз подтвердилась правильность аксиомы: Леф силен как организация качественная, а не количественная.

Этим кончаются мои воспоминания о борьбе и работе одесских футуристов.

В январе 1926 г. я уехал в Москву.

Текущие дела.

Маяковский:

— В издании Гиза выпустил поэму „Хорошо“, 104 стр., цена 2 р., оформление конструктора Лисицкого, тираж 3000.

— 19 октября читал в Красном зале Московского комитета ВКП (б) поэму „Хорошо“. После читки были прения, в итоге которых принята резолюция—читать поэму Маяковского „Хорошо“ шагом вперед в общем ряду пролетарской литературы.

20 октября читал ее в Политехническом музее при переполненном зале, а после чтения отвечал на вопросы.

— 21 октября читал ее в клубе НКВД.

— 24 октября выступал с чтением заключительного стиха поэмы „Хорошо“ на десятилетии Комсомола в Колонном зале Дома союзов.

— 25 октября читал „Хорошо“ в Доме печати.

— 26, 30, 31—чтение поэмы в Ленинграде.

Первая часть поэмы.

Родченко.

— Закончил свою работу над режиссируемой Барнетом фильмом „Октябрь в Москве“ (Межрабпом Русь).

Асеев.

— К октябрьским праздникам вышла в Гизе отдельным изданием поэма „Семен Проскаков“, на тему о сибирской партизанщине.

Жемчужный.

— Выпустил в Гизе инструктивную брошюру „Как организовать октябрьскую демонстрацию“, стр. 31, цена 10 к., тир. 20 000.

Брик.

— На Высших литературных курсах при МОНО учащимися организован кружок Лефа. Участники кружка пригласили руководителя О. М. Брика.

Шкловский.

— Работает над капитальным исследованием „Войны и мира“ Л. Толстого. Основная установка работы—разоблачить те художественные искажения реального исторического материала, которые допущены Толстым по отношению к эпохе 1812 года.

Третьяков.

— Закончил четырехмесячную работу в Госкинопроме Грузии в качестве консультанта литотдела. Работал над изменением производственной линии Госкинопрома в сторону преобладания в его предстоящей продукции фильм, построенных на реальном, бытовом и производственном материале Закавказской федерации. Основной принцип: не от данной фабулы к искомому материалу, а от данного материала к искомой фабуле. В результате указанного изменения курса Госкинопромом приняты к постановке два его этнографических сценария „Слепая“ (на тему сегодняшней Сванетии) и „Последний деканоз“ (на тему советской Хевсуретии). А также получено задание на изготовление ряда сценариев, из которых наиболее интересны

8-9. 087

2

два — „Водоворот“ с главным действующим лицом — рекой, и „Герои нашего времени“ на тему о борьбе высоких сельскохозяйственных культур с кукурузой.

— Л. В. Кулешовым снимается фильма „Паровоз Д 1000“ по сценарию С. Третьякова. Фабула — история паровоза, проходящего ряд этапов революционной борьбы. Так как финал этой фильма разворачивается на праздновании октябрьского десятилетия, то в свет фильма будет выпущена вероятно к январю.

Лефом получено следующее письмо из Украинского Госиздата:

Государственное издательство Украины приступило к изданию ежемесячного журнала „Нова Генерація“, посвященного вопросам теории и практики левой формации искусств.

Уведомляя об этом, редакция „Новой Генерації“ просит вас принять участие в журнале.

Материалы просим присылать по адресу: — Харьков, Сергиевская площ., Московские ряды, II Периодсектору ДВУ. Редакция журнала „Нова Генерація“. Журнал печатается на украинском языке.

Ответственный редактор М. Семенко.

Секретарь Д. Сотник.

К читателям Нового Лефа:

Считая, что сдвиг и изменения художественного вкуса нигде не могут отразиться так сильно, как в художественном оформлении Октябрьского десятилетия, редакция Нового Лефа просит читателей сообщить ей свои наблюдения по поводу этого оформления (изобразительного, речевого, музыкального, организационного).

Редакция

В номере:

Десять — Леф. Моя именинная — С. Кирсанов. Только не воспоминания... — В. Маяковский. Октябрь на Дальнем — Н. Асеев. Мы футуристы — О. Брик. По поводу картины Эсфирь Шуб — В. Шкловский. Штык строк — С. Третьяков. Современники — В. Перцов. Черноморские футуристы — С. Кирсанов. Текущие дела.

Обложка — А. М. Родченко.

Фото — из реархива А. Р.

Кинокадры:

„Великий путь“ — Э. Шуб. „Москва в Октябре“ — режиссер Б. Барнед. Оформление А. Родченко.

„11-й“ — работа Д. Вертова. „Радио“ — режиссер А. Лавинский.

Адрес редактора „Нового Лефа“ — Москва, Лубянский проезд, 3, кв. 12
Тел. 73—88.

Ответственный редактор В. В. Маяковский.

Главлит № 99848.

Гиз № 22700.

Тираж 2 800.

Типография Госиздата „Красный пролетарий“. Москва, Пименовская, 16.

? КАКОЙ ЖУРНАЛ ВЫПИСАТЬ ?
НА 1928 ГОД ?

▽ КАКИМИ ЖУРНАЛАМИ ▽
ПОПОЛНИТЬ СВОЮ БИБЛИОТЕКУ

ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ СОВРЕМЕННОЙ
ЖИЗНИ, НЕ ОТСТАВАТЬ ОТ ТЕЧЕНИЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ, ОСВЕЖАТЬ
И ПРИОБРЕТАТЬ НОВЫЕ ЗНАНИЯ

ЧИТАЙТЕ ЖУРНАЛЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИЗДАТЕЛЬСТВА

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВЫХОДИТ
НОВЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ
КАТАЛОГ ЖУРНАЛОВ

ГОСИЗДАТА

НА 1928 ГОД С УКАЗАНИЕМ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПО ПОЧТЕ КАТАЛОГ ВЫСЫЛАЕТ
МОСКВА, 19, Воздвиженка, 10, Госиздат.

8-9 089

2